

Дж. Г. Кисебаев

**ВВЕДЕНИЕ
В УРАЛО-
АЛТАЙСКОЕ
ЯЗЫКО-
ЗНАНИЕ**

Дж. Г. Киекбаев

**ВВЕДЕНИЕ
В УРАЛО-
АЛТАЙСКОЕ
ЯЗЫКО-
ЗНАНИЕ**

БАШКИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

УФА — 1972

Книга Дж. Г. Киекбаева «Введение в урало-алтайское языкознание» рассчитана на широкий круг лингвистов, занимающихся изучением происхождения, развития и формирования уральских и алтайских языков. В ней автор систематизирует и обобщает результаты своих многолетних исследований.

Основным предметом исследования Дж. Г. Киекбаев выбрал проблему родства урало-алтайских языков, которую он решает путем сравнительно-исторического анализа их фонетико-морфологической структуры. При этом как ключ для раскрытия многих вопросов истории этих языков Дж. Г. Киекбаев применяет разработанную им теорию определенности и неопределенности и с ее помощью доказывает общность структурных моделей многих грамматических категорий.

К сожалению, скоропостижная смерть не позволила проф. Дж. Г. Киекбаеву подготовить книгу к изданию. Подготовка была осуществлена Р. Х. Халиковой, А. Г. Бишеввым и А. А. Азнабаевым. Библиография книги была восстановлена З. Дж. Киекбаевой по черновым записям автора.

Возможно, что отдельные положения автора носят дискуссионный и несколько категоричный характер. Однако редакционная коллегия не сочла возможным исправить их.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УРАЛО-АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ

В обширную семью урало-алтайских языков входят отдаленно родственные между собой уральские и алтайские языки, которые, в свою очередь, делятся на две большие ветви и несколько групп.

1. **Уральская ветвь** состоит из двух групп: а) угро-финской, или финно-угорской, и б) самодийской.

Угро-финские языки, состоящие в относительно близком родстве между собой, по единодушному мнению советских ученых, делятся на следующие подгруппы:

1) прибалтийско-финская подгруппа: финский, эстонский, карельский, ижорский, вепсский, водский и ливский языки;

2) волжская подгруппа: мокша-мордовский (мокшанский), эрзя-мордовский (эрзянский), горно-марийский и лугово-марийский языки;

3) пермская подгруппа: удмуртский, коми-зырянский и коми-пермяцкий языки;

4) угорская подгруппа: хантыйский, мансийский (обско-угорские языки) и венгерский;

5) саамский (старое название — лопарский) язык стоит особняком среди других финно-угорских языков, как, например, чувашский или якутский языки среди тюркских.

Классификация угро-финских языков зарубежными учеными отличается от приведенной выше классификации тем, что финно-угорские языки делятся на две большие ветви: угорскую, куда входят приведенные выше обско-угорские и венгерский языки, и финно-пермскую ветвь, кото-

рая состоит из пермской и финно-волжской подгрупп. После распада финно-волжского языка-основы образовались прибалтийско-финские, волжские подгруппы с приведенными выше языками и саамский язык (126—стр. 7—8, 154; 137—стр. 14).

Кроме того, зарубежные финно-угрысты, в частности, Д. Дечи, в составе пермской подгруппы не выделяют коми-пермяцкий язык как особый, считая его, очевидно, одним из диалектов коми-зырянского языка. В зарубежном финно-угроведении, как правило, употребляются старые термины для названия многих финно-угорских языков, например, черемисский — вместо марийский, вотякский — вместо удмуртский, вогульский — вместо мансийский, остякский — вместо хантыйский, лопарский — вместо саамский (а также «самоедские языки» — вместо «самодийские языки»).

Марийские языковеды в составе марийского языка выделяют два литературных языка — горно-марийский и лугово-восточный марийский языки, каждый из которых имеет свою литературную норму (43—стр. 221). В основу же общелитературного языка положен лугово-восточный марийский язык, являющийся ведущим (23—стр. 5).

Приведенная классификация финно-угорских языков сделана еще М. А. Кастреном, т. е. более ста лет назад (119—стр. 132—135), и с тех пор не подвергалась пересмотру. В настоящее время она устарела и нуждается в некотором уточнении с учетом отличительных грамматических признаков отдельных подгрупп. Это относится особенно к мордовским и марийским языкам, которые М. А. Кастреном включены в одну общую волжскую подгруппу, тогда как мордовские и марийские языки резко отличаются друг от друга по своим грамматическим признакам.

Так, мордовские языки характеризуются наличием своеобразной морфологической категории сказуемости, как и бурятский, нанайский и тюркские языки. Кроме того, в мордовских языках форма сказуемости имен переплетается с притяжательной формой, образуя особую морфологическую категорию, как и в тюркских языках; ср. морд. *цера-т-ан*, узб. *уғл-иң-ман*, тат. *ул-ың-мын* 'я твой сын' или морд. *цёра-м-ат*, узб. *уғл-им-сан*, тат. *ул-ым-сың* 'ты мой сын' и т. д.

Для мордовских языков характерно наличие объектного и безобъектного (определенного и неопределенного)

спряжения глаголов по местоименным рядам, напр., эрзя-морд. *кунсоло-са* 'послушаю я его', *кунсоло-сак* 'послушаешь ты его' и т. д. В мордовских языках имеются внешнеместные и внутреннеместные падежи, как и в большинстве других финно-угорских языков, ср. эрзя-морд. *кудо-сто* 'из дома', но *кудо-до* 'от дома'. Марийские языки не знают категории сказуемости, объектного и безобъектного спряжения глаголов; в них нет также деления падежей на внешнеместные и внутреннеместные. В марийских языках имеется прошедшее очевидное (определенное) и прошедшее неочевидное (неопределенное) время глаголов изъявительного наклонения, как и в большинстве других урало-алтайских языков, тогда как мордовские языки не знают такого прошедшего времени. Для живой речи марийских языков характерно наличие полной и краткой (определенной и неопределенной) формы некоторых личных местоимений, как и в чувашском и некоторых прибалтийско-финских языках. В мордовских же языках нет парных личных местоимений типа мар. *мый* 'я' и *мый-э* 'именно я' (при логическом ударении на личном местоимении) или чув. *эп*, *эле* — в том же значении.

Можно было бы привести еще несколько случаев, по которым мордовские и марийские языки отличаются друг от друга. Однако перечисленные выше отличительные морфологические признаки служат достаточным основанием для того, чтобы выделить мордовские языки в особую окско-сурскую, а марийские — в отдельную волго-камскую подгруппу финно-угорских языков, исходя, разумеется, из современного состояния этих языков и не нарушая при этом общепринятого географического принципа, при котором, как уже говорилось, должны быть учтены прежде всего отличительные для каждой подгруппы грамматические признаки.

В последнее время финно-угристы склоняются к выделению марийского языка в самостоятельную подгруппу. Так, Б. А. Серебренников на основании подробного сравнительного анализа марийского и мордовских языков пришел к следующему выводу: «Состояние марийского языка в настоящее время таково, что его нельзя причислить ни к пермским, ни к мордовским. В настоящее время это вполне самостоятельный уральский язык, который нельзя отнести к какой-либо определенной группе»(90 — стр. 174).

Большинство финно-угорских языков распространено на территории Советского Союза. Так, основная масса носителей удмуртского, коми-зырянского, марийского, мокша-мордовского и эрзя-мордовского, эстонского языков проживает соответственно в Удмуртской, Коми, Марийской, Мордовской АССР и Эстонской ССР. Кроме того, марийцы, мордва и удмурты проживают также на территории других областей и АССР. Основное население, говорящее на хантыйском, мансийском и коми-пермяцком языках, проживает соответственно в Ханты-мансийском национальном округе Тюменской области и Коми-Пермяцком национальном округе Пермской области. Кроме Карельской АССР, карелы проживают также в Калининской и Вологодской областях и говорят на собственно карельском диалекте. Однако карельский язык является бесписьменным, как и водский, ижорский, вепсский, ливский и кольско-саамский языки финно-угорской группы, которые распространены на территории Эстонской ССР, Карельской АССР, Ленинградской и Мурманской областей.

Саамский язык, кроме Мурманской области (кольско-саамский язык), распространен также в Швеции, Норвегии и на севере Финляндии (38— стр. 6).

На финском и венгерском языках говорит соответственно основное население Финляндии и Венгерской Народной Республики. Кроме того, венгры проживают также в СССР (Закарпатская Украина), в Румынии, Чехословакии и Югославии.

В *самодийскую группу* уральских языков входят ненецкий, энецкий, нганасанский и селькупский языки. Территориально они распространены на Крайнем Севере Советского Союза — в Ненецком национальном округе Архангельской области, в Ямало-Ненецком национальном округе Тюменской области и в Таймырском национальном округе Красноярского края. Ненцы частично обитают также и в Ханты-Мансийском национальном округе Тюменской области и на Кольском полуострове.

По старой номенклатуре самодийские народности назывались термином «самоеды», например, ненцы — юрако-самоеды, энцы — енисейские самоеды, селькупы — остяко-самоеды, нганасаны — тавгийские самоеды (94— стр. 363). Ненцы, являющиеся самыми многочисленными по сравнению с другими самодийскими народностями, в старину, очевидно, жили, как и многие тюркские и монголь-

ские народы, сотнями, на что указывает их старое название — *юрак* (мн. число *юраки*), так как слово *юр* (или *йурһ*) в ненецком языке означает 'сто', а сочетание *-ак* можно рассматривать как словообразовательный аффикс.

Что касается классификации самодийских языков, то среди финно-угристов нет единого мнения. По утверждению некоторых языковедов, самодийские языки на группы не разделены (52— стр. 5). Другие же языковеды в самодийской группе выделяют две подгруппы: северную, или северо-восточную (ненецкий, энецкий и нганасанский языки), и южную, или юго-восточную подгруппу, куда входит селькупский язык (94— стр. 372). Венгерский языковед П. Хайду к южной подгруппе, кроме селькупского, относит еще саянско-самоедские языки (137— стр. 14).

II. **Алтайская ветвь** урало-алтайских языков состоит из трех групп: а) монгольской, б) тунгусо-маньчжурской и в) тюркской.

В *монгольскую группу* входят следующие языки (83 — стр. 40):

1) собственно монгольский, или халха-монгольский, язык. Он распространен на территории Монгольской Народной Республики и в монгольском автономном районе Китая. По классификации некоторых монголистов, собственно монгольский (или халхасский) язык относится к восточной группе монгольских языков (141— стр. 2);

2) бурятский, или бурят-монгольский, язык. На нем говорит основное население Бурятской АССР и Бурятских национальных округов Иркутской и Читинской областей. Он входит в северную подгруппу и по своим фонетическим и грамматическим признакам во многом отличается от других монгольских языков, имеет множество диалектов, которые описаны достаточно подробно (3— стр. 161—202);

3) могольский язык. Он распространен на территории современного Афганистана. На этом языке говорит небольшая народность, являющаяся остатком тех «великих моголов», которые долгое время правили в Афганистане и северной Индии. Могольский язык долгое время испытывал влияние окружающих его таджикских диалектов в фонетическом, грамматическом и лексическом отношениях (48—стр. 5—22);

4) ойротский язык распространен преимущественно в северо-западной Монголии (МНР) и в Синьцзянской провинции Китая (КНР);

5) калмыцкий язык распространен на территории Калмыцкой АССР. В научной литературе калмыцкий язык часто называют ойротским, так как он некогда отделился от ойротского языка (или диалекта), распространенного в северо-западной Монголии. Территориально калмыцкий язык можно отнести к западной подгруппе монгольских языков;

6) монгорский язык является языком небольшой народности на территории Китая, приблизительно в верхнем течении реки Хуанхэ;

7) дагурский язык распространен также на территории Китая, приблизительно в бассейне реки Хайлар. Дагурский язык можно отнести к восточной подгруппе вместе с халхасским, но по своим фонетико-грамматическим признакам он во многом отличается от других монгольских языков (82— стр. 10).

В конце 50-х годов Б. Х. Тодаевой были подробно описаны монгольские языки, известные на территории Китая, где, кроме монгольского, дагурского, монгорского языков, она выделяет дунсянский и баоанский языки, распространенные в провинции Ганьсу Китайской Народной Республики (95— стр. 3; 96— стр. 107).

Монголисты, в частности Г. Д. Санжеев, в составе монгольских языков выделяют только шесть самостоятельных языков: могольский, монгорский, дагурский, ойротский, бурятский и собственно монгольский (82— стр. 10). Зарубежные монголисты, в частности Н. Поппе, в составе монгольской группы также выделяют шесть самостоятельных монгольских языков и классифицируют их главным образом по фонетическому принципу. Так, в зависимости от наличия или отсутствия звуков *ф*, *х* в начале слова (например, *фулан*//*хулан* или *улан*//*улаң* 'красный') Н. Поппе делит монгольские языки на три подгруппы:

1) группа *-ф*: монгорский язык, например, *фулан* 'красный';

2) группа *-х*: дагурский язык, например, *хулан* 'красный';

3) группа *-нуль*: монгольский, калмыцкий, бурятский и восточномонгольский (халхасский) языки, например, *улан* 'красный'.

В свою очередь, третья группа (группа *-нуль*) делится на две подгруппы по наличию звуков *а* или *о* во втором слоге: 1) подгруппа *-а*, например, монгор. и калм. *жола* 'по-

вод' (ремень) и 2) подгруппа -о, например, халха-монг. и бурят. *жоло* в том же значении.

В составе подгруппы -а указывается также на наличие дифтонга *ou* или долгого *y* в первом слоге слова, например, соответственно в монгольском и калмыцком языках; в подгруппе -о указывается на наличие звука *н/ң* на исходе слова, например, в бурятском, или отсутствие этого звука в той же позиции, например, в халха-монгольском языке (141— стр. 2).

Тунгусо-маньчжурские языки распространены преимущественно на Дальнем Востоке и северо-востоке Советского Союза и на севере Китая (в Маньчжурии). В эту группу алтайских языков входят:

1) эвенкийский (или собственно тунгусский) язык, на котором говорит основное население Эвенкийского национального округа в Красноярском крае. Кроме того, эвенки проживают также на западе Якутской и на севере Бурятской АССР, а также у побережья Охотского моря (21— стр. 641);

2) эвенский (или ламутский) язык распространен главным образом на северо-востоке Якутской АССР, в Магаданской и частично Камчатской областях;

3) нанайский (или гольдский) язык распространен на обширной территории Хабаровского и Приморского краев и частично на севере Китая (2— стр. 4—5);

4) удейский язык распространен преимущественно по реке Амуру в соседстве с нанайским и его диалектами;

5) маньчжурский язык, который распространен на территории северного Китая (в Маньчжурии), в настоящее время является почти вымершим. Поскольку маньчжурский язык был старописьменным, он известен в научной литературе по книге профессора Петербургского университета И. Захарова «Грамматика маньчжурского языка» (30).

Кроме перечисленных, в составе тунгусо-маньчжурских языков выделяют еще негидальский, солонский, орокский, ороцкий и ульчский языки (45— стр. 3, 101— стр. 85).

Тунгусо-маньчжурские языки, в частности эвенкийский, эвенский и нанайский, имеют множество диалектов и говоров, резко отличающихся друг от друга по своим лексическим, фонетическим и грамматическим признакам. Это объясняется тем, что в прошлом тунгусо-маньчжурские народы и племена вели кочевой образ жизни изолированно друг от друга, постоянно передвигаясь по необозримым

просторам тайги и тундры в поисках охотничьих угодий и пастбищ для своих оленьих стад (68— стр. 9). Так, например, эвенкийский язык имеет пять диалектов, в составе которых насчитывают около 20 более мелких местных говоров; в эвенском языке имеются три диалекта и более десяти говоров, в нанайском — четыре диалекта и т. д. (102— стр. 12—13).

Вопросом классификации тунгусо-маньчжурских языков ученые занимались в прошлом столетии, например, Л. Шренк (1883 г.), а также в начале нашего века, в частности, П. Шмидт, Л. Я. Штернберг и другие. В составе тунгусо-маньчжурских языков Л. Шренк различал две ветви: 1) северная, или сибирская, и 2) южная, или маньчжурская (110— стр. 295—296). П. Шмидт также подразделял их на две группы — тунгусскую и маньчжурскую (108— стр. 30). Л. Я. Штернберг различал три подгруппы: 1) подгруппа звони, 2) подгруппа нани и 3) маньчжурская подгруппа (111— стр. 3—4).

В довоенной литературе по тунгусоведению (1932—1939 гг.) в тунгусо-маньчжурских языках различали также две группы: 1) северная, или тунгусская, группа с эвенкийским и эвенским (ламутским) языками и 2) южная, или маньчжурская, подгруппа, куда входят маньчжурский, нанайский (гольдский) и удэйский языки (102—стр. 12—13).

Зарубежные ученые, в частности, И. Бенцинг, в своей классификации ориентируются в основном на классификацию тунгусо-маньчжурских языков, установленную советскими учеными в 1932—1939 годах (116— стр. 9—10).

Классификация тунгусо-маньчжурских языков была окончательно уточнена в послевоенный период на основании всестороннего описания и исследования этих языков и их диалектов. В настоящее время в составе тунгусо-маньчжурских языков различают три ветви: 1) северная, или тунгусская, ветвь, в которую входят эвенкийский, эвенский, негидальский и солонский языки, 2) южная ветвь с языками нанайским, орокским, ороцким, ульчским и удэйским и 3) западная, или маньчжурская, ветвь с маньчжурским и чжурчженьским языками (45— стр. 3—4).

Тюркскую группу алтайской семьи языков составляют близкородственные между собой азербайджанский, туркменский, казахский, киргизский, узбекский, башкирский, каракалпакский, карачаево-балкарский, татарский,

тувинский, чувашский, якутский и долганский, хакасский, ойротский (или горно-алтайский), кумыкский, шорский, караимский, ногайский, уйгурский, турецкий, гагаузский, сары-уйгурский, саларский, камасинский, карагаский (или тофаларский) и чулымский языки. Население, говорящее на этих языках, компактной массой проживает соответственно в Азербайджанской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Узбекской ССР, в Башкирской, Каракалпакской, Татарской, Тувинской, Чувашской, Якутской АССР и в Хакасской, Горно-Алтайской автономных областях. Кумыкский язык распространен на территории Дагестанской АССР, карачаево-балкарский — в Кабардино-Балкарской АССР и Карачаево-Черкесской автономной области и Ставропольского края; на этой же территории распространен и ногайский язык. Население, говорящее на шорском языке, проживает на юге Кемеровской области в соседстве с Хакасской автономной областью.

Небольшие тюркоязычные этнические группы, говорящие на тофаларском (карагасском) и камасинском языках и проживающие в Красноярском крае, как утверждают, происходят из ненецкого племени, а носителей чулымского языка (Новосибирская область) по происхождению считают остяками, принявшими тюркский язык (10— стр. 280, 291, 293).

Гагаузский язык распространен на территории Молдавской ССР и Румынии, караимский — на территории Литовской и Украинской ССР, а также на юге Польши.

На турецком языке говорит основное население Турции и на Балканах (в Болгарии и частично в Югославии). На азербайджанском языке говорят также иранские азербайджанцы, проживающие на северо-западе Ирана. Большинство носителей уйгурского языка проживает в Синьцзян-Уйгурской автономной области западного Китая, а также отчасти в Казахской ССР. Уйгурскому языку близки также сарыуйгурский и саларский языки на западе Китая в бассейне реки Аксу. На крайнем северо-западе Якутской АССР проживают долганы, говорящие соответственно на долганском языке, во многом отличающемся от якутского.

Классификация тюркских языков имеет большую историю. Этим вопросом ученые занимались еще в средние века. Так, Махмуд Кашгари (Кашгарский) в своем известном «Словаре тюркских языков», написанном в 1073—

1074 годах, тюркские языки делил на северные, южные и средние между севером и югом. При этом он указывал также на фонетические и морфологические особенности существовавших в те времена тюркских языков (37— стр. 64—69). Эти особенности в основном сохранились и в современных тюркских языках.

В XIX веке классификацией тюркских языков занимались известные русские тюркологи В. В. Радлов, Н. И. Ильминский, И. Н. Березин, Н. А. Аристов, Н. Ф. Катанов, в начале нашего века — Ф. Е. Корш, А. Н. Самойлович, а позднее — В. А. Богородицкий, С. Е. Малов, И. А. Батманов и другие. Однако до последнего времени в тюркологии самое широкое распространение получила классификация А. Н. Самойловича, который тюркские языки разделил на шесть основных групп (приводим его классификацию без указания на признаки и деления на мелкие подгруппы):

1) *p*-группа — болгарская, или чувашская: современные — чувашский и древние — болгарский языки;

2) *д*-группа — уйгурская, или северо-восточная: современные — карагасский, саларский, тувинский, хакасский, шорский, желтоуйгурский (сарыуйгурский) и якутский языки; древние — язык енисейско-орхонских надписей V—VIII веков и древнеуйгурский язык V—X веков;

3) *тау*-группа — кыпчакская, или северо-западная: киргизский, кумыкский, карачаево-балкарский, караимский, башкирский, татарский, казахский, ногайский, каракалпакский, ойротский (горно-алтайский) языки;

4) *тағлык*-группа — чагатайская, или юго-восточная, современные — узбекский и язык черневых татар, древние — чагатайский язык XV века;

5) *тағлы*-группа — кыпчакско-туркменская, или средняя группа: язык хорезмских узбеков;

6) *ол*-группа — туркменская, или юго-западная: туркменский, азербайджанский, турецкий и гагаузский языки (81— стр. 7—18).

По общему признанию, классификация тюркских языков А. Н. Самойловичем, который наряду с фонетическим принципом использовал также и исторический, сыграла весьма важную роль в развитии советской тюркологии (10— стр. 177).

В последнее время глубокое исследование в области классификации тюркских языков проведено известным советским тюркологом и алтаистом Н. А. Баскаковым. Его классификация, являющаяся синтезом всех существовавших до сих пор классификаций, отличается от прежних тем, что им строго учтена тесная взаимосвязь тюркских языков с историей тюркских народов, а также отражены исторические условия их формирования как национальных языков.

Историю развития тюркских языков Н. А. Баскаков делит на пять эпох: 1) алтайская 2) хунская (до V в. н. э.), 3) древнетюркская (V — X вв.), 4) среднетюркская (X—XV вв.) и 5) новотюркская (XV—XIX вв.).

В хунскую эпоху образовались две ветви тюркских языков: 1) западнохунские языки, которые разделились на две группы — на болгарскую группу с фонетическими признаками *p-l* и на огузо-карлуко-кыпчакскую с фонетическими особенностями *з ~ ш*, *д ~ т* и 2) восточнохунские языки, которые, в свою очередь, разделились также на две группы — на уйгуро-огузскую и киргизско-кыпчакскую; причем характерной фонетической особенностью обеих групп является наличие *з ~ ш*, *д ~ т*.

В древнетюркскую эпоху от болгарской группы образовались хазарский, болгарский языки, а от огузо-карлуко-кыпчакской — кыпчакско-огузские и карлукские; от уйгуро-огузской группы развились уйгуро-тукуюйские, а от киргизско-кыпчакской группы — древнекиргизский языки и т. д. (10—стр. 307—312 приложения).

Что касается классификации тюркских языков зарубежными учеными, то они пользуются исследованиями русских и советских ученых. Так, основоположник современного алтайского языкознания финский ученый Г. И. Рамstedт в тюркских языках различал шесть основных групп (80—стр. 28). Его классификация в сущности мало отличается от приведенной выше классификации тюркских языков А. Н. Самойловичем.

Финский тюрколог и уралоалтаист М. Ряснен в своей классификации тюркских языков положил в основу классификацию Г. И. Рамstedта, внося некоторые уточнения. Так, в отличие от Г. И. Рамstedта, который кыпчакскую группу назвал западной группой, М. Ряснен, как и А. Н. Самойлович, называет ее «северо-западной». Турк-

менский, азербайджанский, турецкий и гагаузский языки, включенные А. Н. Самойловичем в *ол*-группу, т. е. юго-западную, М. Рясянен назвал юго-восточной группой (у Рамстедта — южная группа). Кроме того, М. Рясянен предлагает выделить якутский язык в самостоятельную подгруппу тюркских языков и возражает против мнения некоторых ученых, считающих чувашский язык «смешанным языком тюркизированного угрофинского народа». По справедливому замечанию М. Рясянена, чувашский язык — это не смешанный язык, а подлинный тюркский язык, который сохранил много архаических черт, утраченных другими тюркскими языками (80—стр. 29—31).

К этим архаическим чертам относится, например, наличие в чувашском языке инфинитива на *-ма*, как и в мордовских и прибалтийско-финских языках, вопросительной частицы *и*, как в эвенском, а также в венгерском (в последнем *e*), деепричастия на *-са* — в чувашском и удмуртском языках, в которых это деепричастие закономерно легло в основу условного наклонения; отсутствие личного аффикса у глаголов прошедшего неопределенного (неочевидного) времени, как и в эстонском и т. д. и т. п.

Из этого следует вывод: поскольку эти архаические черты свойственны многим языкам урало-алтайской семьи, в частности финно-угорским и отчасти тунгусским, и являются общими, постольку чувашский язык можно считать одним из древнейших урало-алтайских языков.

Вскользь о классификации тюркских языков высказался также Н. Поппе в своей книге «*Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. I Teil. Lautlehre*» (Сравнительная грамматика алтайских языков, часть 1, фонетика, Висбаден, 1960). Возражая против деления тюркских языков М. Рясяненом на шесть групп, Н. Поппе считает более правильным делить тюркские языки сначала на две главные группы, а именно: 1) языки группы *-р* — волжско-булгарский (древний) и современный чувашский язык и 2) языки группы *-з* — все остальные тюркские языки. По мнению Н. Поппе, только вторую группу можно затем разделить на шесть групп, как и в классификации М. Рясянена (141—стр. 7). Замечание Н. Поппе о делении тюркских языков сначала на главные группы в сущности согласуется с приведенной выше классификацией Н. А. Баскакова в древнейший период развития тюркских языков.

§ 2. ПОПЫТКА ОБОБЩЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ УРАЛО-АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Учитывая фонетические, грамматические и лексические особенности, в обширной семье урало-алтайских языков можно выделить восточные, западные, северные и южные группы.

Так, в фонетическом отношении северные урало-алтайские языки, куда можно отнести эвенский, бурятский, якутский, башкирский и прибалтийско-финские, характеризуются переходом старого согласного *c* (*s*) в гортанный спирант *h* в абсолютном начале и в середине слова между гласными. Этот переход связан с законом вытеснения звуков. Данный закон или теория (*die Lautverdrängungstheorie*) был разработан австрийским языковедом Карлом Люиком еще в начале нашего столетия (138). Сущность его состоит в том, что появление нового звука в каком-нибудь языке вызывает изменение старого звука, который по своему качеству совпадает с вновь появившимся звуком. Так, например, общемонгольская аффриката *ц* (*mc*), утратив свой взрыв, в бурятском языке перешла в свистящий звук *c*. Но общемонгольский звук *c* в бурятском языке перешел в спирант *h* во всех позициях слова.

Аналогичный переход произошел и в башкирском: общетюркская аффриката *ч* (*miu*) через ступень *ц* (*mc*) в башкирском перешла в звук *c* (15— стр. 101—102). Общетюркский звук *c* в том же башкирском языке через ступень *ç* перешел в спирант *h*.

В прибалтийско-финских языках старый звук *m* (*t*) перешел в *c* (*s*), а старый звук *c* (*s*) перешел в спирант *h*. В якутском языке спирант *h*, появившись в начале слова, исчез, так как новый звук *c* в начале слова, развившийся из общетюркского *й* (*j*), в живой речи регулярно и закономерно чередуется со спирантом *h*, ср. якут. *сүүс* 'сто' (из общетюрк. *йүз*, хакас. *чүс* 'сто'), но якут. *ики сүүс*, произносится *ики һүүс* 'двести' и т. д.

Аналогичный, но более сложный случай появления, а затем исчезновения спиранта *h* из *c* (*s*) произошел и в венгерском языке, который исторически тоже можно отнести к северной группе урало-алтайских языков. Другими словами, в венгерском языке звук *c* (*s*) через ступень *h* дал нуль, тогда как в башкирском этот процесс остановил-

ся на промежуточной стадии (126— стр. 151), т. е. на ступени перехода $c > h$.

В южных же урало-алтайских языках, где старые звуки *ч, ц, т* сохранились, переход звука *с* в звук *h* не произошёл.

В морфологическом отношении для северных урало-алтайских языков, в частности для эвенского, марийского и самодийских, характерно наличие винительного определенного падежа с аффиксом *-м*, который восходит к более древнему *-п, -б (> в)*. Винительный падеж на *-м* характерен и для мансийского языка, но в личном местоимении 1-го лица единственного числа. В южных урало-алтайских языках винительный падеж на *-м* или на *-п, -б (-в)* совершенно отсутствует.

В восточных урало-алтайских языках, например, в монгольских, тунгусо-маньчжурских, сохранился звук *б* в местоимениях 1-го лица единственного и множественного числа, например, *би 'я', бу, бид 'мы'*. Тогда как в западных урало-алтайских языках звук *б* в составе личных местоимений 1-го лица единственного и множественного числа перешел в звук *м*.

В морфологическом отношении для восточных урало-алтайских языков, в частности для самодийских, обско-угорских и тувинского, свойственно наличие двойственного числа. В тувинском языке двойственное число имеет только глагол повелительного наклонения (33 — стр. 392—393). Остатки двойственного числа в повелительном наклонении глаголов сохранились и в якутском языке (100— стр. 186). Кроме того, в тунгусо-маньчжурских и частично в монгольских языках имеется исключаящая форма числа (эксклюзив), которую можно рассматривать как разновидность двойственного числа, так как это число имеет значение «мы без вас», т. е. двое, трое, не включая других присутствующих.

В западных урало-алтайских языках, т. е. в других финно-угорских, тюркских, отсутствует как двойственное, так и эксклюзивное число.

Характерно, что западные урало-алтайские языки, например, финно-угорские и западнотюркские, характеризуются наличием лишительного падежа (абессива) и лишительного прилагательного со специальным аффиксом, который указывает на отсутствие предмета или качества в том или другом предмете. В восточных же урало-алтайских

языках, в частности монгольских, тунгусо-маньчжурских, восточнотюркских и самодийских, нет лишительного падежа (прилагательного). В этих языках отсутствие предмета или качества выражается синтаксически при помощи отрицательного слова, напр., эвенк. *ачин*, монг. *үгүй*, бурят. *гуй*, якут. *суох*, хакас. *чох* 'нет, не имеется' (39—стр. 14); ср. эвенк. *куцакан-а ачин бэс*, хакас. *пала-зы чох кизи*, якут. *оҕо-то суох киһи*, дословно: 'ребенка нет человек', т. е. 'бездетный человек'; ср. монг. *ус үгүй газар*, бурят. *уһа-гүй газар*, дословно: 'воды нет земля', т. е. 'безводная земля' и т. д.

В лексическом отношении в восточных урало-алтайских языках, преимущественно в монгольских, частично в тунгусо-маньчжурских и восточнотюркских, наличествуют старые китайские заимствования, так как эти языки раньше испытывали влияние китайской культуры. В западных же урало-алтайских языках, на которые сильное влияние оказала западная культура, имеется много славянских и германских заимствований. Напротив, южные урало-алтайские языки (т. е. южнотюркские), в силу исторических обстоятельств находившиеся в течение нескольких веков под влиянием иранской и арабской культур, заимствовали много слов из арабского и иранских языков (80—стр. 31). Древнейшие иранские заимствования можно обнаружить и в пермских (50—стр. 124), а также в обско-угорских языках. Это объясняется тем, что в начале нашей эры (до III века н. э.) древние ираноязычные племена аланы обитали на Южном Урале в соседстве с финно-угорскими и тюркскими племенами.

§ 3. ОБРАЗОВАНИЕ УРАЛО-АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ

По своему происхождению урало-алтайские языки восходят к существовавшему в доисторические времена единому языку-источнику, или языку-основе, так же, как и все родственные языки на земном шаре. Они образовались в результате территориального разобщения некогда единого племенного языка или диалекта.

Основные положения о возникновении и развитии родственных языков мы находим в произведениях К. Маркса

и Ф. Энгельса. Так, К. Маркс, в частности, писал: «Постоянная тенденция к разделению коренилась в элементарной родовой организации; она усиливалась тенденцией к образованию различий в языке, неизбежной при их ...общественном состоянии и обширности занимаемой ими территории. Хотя устная речь замечательно устойчива по своему лексическому составу и еще устойчивее по своим грамматическим формам, но она не может оставаться неизменной. Локальное разобщение — в пространстве — вело с течением времени к появлению различий в языке; это приводило к обособлению интересов и к полной самостоятельности» (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, том IX. Госполитиздат, 1941, стр. 79).

Развивая эту мысль, Ф. Энгельс в своем труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (114— стр. 104) следующим образом описывает образование родственных народов и языков. «На примере североамериканских индейцев мы видим, как первоначально единое племя постепенно распространяется по огромному матерку; как племена, расчлняясь, превращаются в народы, в целые группы племен; как изменяются языки, становясь не только взаимно непонятными, но и утрачивая почти всякий след первоначального единства...»

Этот естественный и неизбежный закон родо-племенной организации, т. е. постоянное стремление вновь образовавшихся племен к разделению, несомненно, был присущ и тем некогда существовавшим племенам и их диалектам, от которых впоследствии отпочковывались современные урало-алтайские языки. В результате территориального разобщения после разделения откочевавшие на другие земли племена обособились и обрели полную самостоятельность, утратив при этом всякую связь с тем первоначальным племенем, от которого они произошли. В свою очередь, от новых племен, пришедших на новые территории, благодаря увеличению численности населения возникали новые «молодые» племена, которые по разным причинам перекочевали на другие, доселе неизвестные им территории. Этот процесс происходил постоянно и волнообразно в течение нескольких тысячелетий. Этому благоприятствовали обширность занимаемой ими территории и отсутствие всяких границ в современном понимании.

Поскольку племена на своих новых территориях обрели полную самостоятельность и окончательно утратили.

связь с первоначальным племенем, то их языки постепенно изменялись и с течением времени стали непонятными для тех племен, которые оказались на других территориях.

Говоря о постоянной тенденции в недрах родовой общины к разделению и к территориальному разобщению и об образовании народов и групп племен в результате этого разобщения, К. Маркс и Ф. Энгельс, несомненно, имели в виду тот естественный, или внутренний, процесс возникновения и развития племен и народов, который не был связан с внешними причинами.

Кроме естественного хода развития, следует еще учитывать внешние причины, вынуждавшие древние племена и народы откочевывать на отдаленные территории, оставляя свои обжитые места. Здесь имеются в виду крупные и мелкие набеги и нашествия, которых в древние времена было немало также и на территории расселения носителей урало-алтайских языков.

Так, по этой причине якуты оказались на крайнем северо-западе Азии, современные венгры, или мадьяры, древнейшей родиной которых надо считать бассейн рек Оби и Иртыша, откуда они приблизительно в середине II тысячелетия до н. э. двинулись на юго-запад и до начала VII века н. э. находились на южном Урале (126— стр. 151), впоследствии через донские и южно-русские степи откочевали на запад и оказались в середине Европы; калмыки (ойроты) сейчас живут в каспийских степях по правому побережью нижнего течения Волги, а другая монголоязычная народность — монголы — обитает теперь на территории Афганистана. То же самое можно сказать и о небольшой народности с языком тюркского корня — ногайцах, которые до середины XVI столетия кочевали в южно-уральских степях, а в настоящее время живут на Северном Кавказе и т. д. и т. п.

§ 4. ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЯЗЫКОВ-ОСНОВ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП УРАЛО-АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ И О ВРЕМЕНИ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗОБЩЕНИЯ

Методами лексикостатистики установлено, что если со времени территориального разобщения двух родственных языков друг от друга прошло 1000 лет, то общих корневых

слов в этих языках остается 74 процента, через 2000 лет — 55 процентов, через 3000 лет — 41 процент, через 4000 лет — 30 процентов, через 5000 лет — 22 процента, через 6000 лет — 16 процентов, через 7000 лет общих корневых слов остается уже лишь 12 процентов (137— стр. 11—12).

Финский ученый А. Раун высчитал, что в венгерском и финском языках общие корневые слова колеблются между 21 и 27 процентами, между мордовским и марийским языками — от 36 до 40 процентов, между венгерским и мансийским языками — 34 процента, в удмуртском и коми-зырянском языках — 70 процентов, между ненецким и финским языками — 15 процентов, а между ненецким и венгерским языками общие корневые слова составляют только 13 процентов.

Таким образом, по подсчетам А. Рауна, со времени территориального разобщения финно-угорских и самодийских языков прошло более 6000 лет, венгерского и финского языков — около 4500—5000 лет, пермских языков друг от друга — не более 1000 лет (147— стр. 151—154), а со времени отделения венгерского языка от мансийского прошло около 3500 лет.

Исходя из этих данных установлено, что уральская языковая общность (или язык-основа) существовала уже задолго до IV тысячелетия до н. э.; финно-угорский язык-основа существовал приблизительно до III тысячелетия до н. э., а к концу III тысячелетия до н. э. он распался на угорский и финно-пермский языки-основы (137— стр. 14; 132— стр. 19).

Надо полагать, что до III тысячелетия до н. э. сформировался и самодийский язык-основа. Правда, П. Хайду конкретно не говорит о периоде образования самодийской общности, но указывает, однако, что он образовался «приблизительно до нашего летоисчисления» (137— стр. 14).

В алтайском языкознании почти не разработаны вопросы лексикостатистики. Поэтому в исследованиях алтаистов вопрос об эпохе формирования алтайской языковой общности остается открытым и нерешенным, и мы не находим ответа на этот вопрос ни у Г. И. Рамседта, ни у В. Котвича, ни у Н. Поппе и ни у других. Н. А. Баскаков в своей классификации, хотя и датирует хунскую эпоху развития

тюркских языков периодом до V века нашей эры, однако тоже не указывает на хронологию алтайской эпохи.

Кроме того, в алтаистике нет единого мнения о дальнейшем ответвлении алтайского языка-основы. По мнению Б. Я. Владимирцова, алтайский язык-основа, или прото-алтайский язык, сначала разделился на две ветви: на тюрко-монгольский язык-основу и на тунгусо-маньчжурский язык-основу. Впоследствии же от тюрко-монгольского языка-основы образовались отдельно тюркский и монгольский языки-основы (22— стр. 47). Н. А. Баскаков, как и Б. Я. Владимирцов, в своем исследовании также делит алтайский язык-основу на тунгусо-маньчжурские и тюрко-монгольские языки; от последних же в алтайскую эпоху образовались отдельно тюркские и монгольские языки (10— приложение 2).

Кстати, венгерский ученый Б. Мункачи в своей схеме, составленной еще в начале нашего столетия, выделил в урало-алтайской семье языков две ветви: 1) западную, или уральскую, ветвь и 2) восточную, или алтайскую ветвь. Впоследствии от алтайской ветви образовались две группы: 1) тунгусо-маньчжурская и 2) тюрко-монгольская; от последней, в свою очередь, отпочковались отдельно тюркские и монгольские языки (139— стр. 37). При этом Б. Мункачи возводил урало-алтайские языки к какому-то весьма отдаленному «древнему языковому типу» («ostyrus»), от которого непосредственно отделились также корейский и японский языки.

Г. И. Рамstedт в алтайскую языковую общность, кроме тунгусо-маньчжурских, монгольских и тюркских языков, включает также и корейский и пишет, что предки монголов и тунгусов, по-видимому, обитали в северной части, а предки тюрков и корейцев — в южной части алтайской языковой области (144— стр. 15).

Исходя из высказываний Г. И. Рамstedта, Н. Поппе в своей схеме делит алтайский язык-основу на две ветви: 1) на тюрко-монголо-тунгусо-маньчжурскую языковую общность, из которой впоследствии образовались прототюркский язык и монголо-тунгусо-маньчжурская языковая общность и 2) на древнекорейский язык, из которого изолированно развился современный корейский язык, который от алтайской языковой общности отделился первым. А из монголо-тунгусо-маньчжурской языковой общности

впоследствии через протомонгольский и прототунгусо-маньчжурский языки развились отдельно монгольские и тунгусо-маньчжурские языки (141— стр. 8).

Свою схему Н. Поппе обосновывает тем, что по общеалтайскому языковому фонду корейский стоит ближе всего к тунгусо-маньчжурским языкам. В свою очередь, тунгусо-маньчжурские языки по своим фонетическим признакам ближе к монгольским языкам, чем к тюркским. В фонетическом отношении тюркские языки очень отдалены от тех и других. По мнению Н. Поппе, из этого следует двоякий вывод: или прототюркский язык очень рано отделился от других алтайских языков, или же в фонетическом отношении он очень быстро развивался. После отделения тюркских языков монголо-тунгусо-маньчжурская языковая общность по всей вероятности существовала еще долго (141— стр. 6).

Как это явствует, основанием для объединения монгольских и тунгусо-маньчжурских языков в один общий язык-основу в древнейший период их развития служили для Н. Поппе главным образом фонетические признаки. При этом общие морфологические признаки этих языков, в частности наличие суффиксированного артиклевого форманта *-н/ң*, инклюзивная и эксклюзивная формы местоимения 1-го лица множественного числа и т. д., в расчет не брались.

Таким образом, схема Н. Поппе совпадает со схемой Г. И. Рамstedта, но отличается от схем Б. Я. Владимирцова и Н. А. Баскакова, которые возводят тюркские и монгольские языки к одному общему тюрко-монгольскому языку-основе, принятому в советской алтаистике. Надо полагать, что основанием для того, чтобы возвести тюркские и монгольские языки к одному общему языку-основе для Б. Я. Владимирцова, а вслед за ним и для Н. А. Баскакова служило наличие наибольшего количества общего лексического фонда в этих двух группах алтайских языков, а не фонетические или морфологические черты.

Что касается общих корневых слов в отдельных тюркских языках, то, по нашим приблизительным и далеко не точным подсчетам, в ойротском (горно-алтайском) и башкирском языках общие корневые слова составляют около 47—50 процентов, в татарском и современном уйгурском — приблизительно 53—57 процентов, в чувашском и башкир-

ском +32—35 процентов, в древнетюркском и башкирском — около 30—33 процентов и т. д.

Следовательно, со времени отделения ойротского и башкирского языков друг от друга прошло приблизительно 2500—3000 лет, татарского и современного уйгурского — около 2000 лет, чувашского и башкирского — порядка 3500 лет, древнетюркского и башкирского — около 4000 лет*.

— Если принять во внимание схему Н. А. Баскакова, по которой хунская эпоха развития тюркских языков датирована периодом до V века н. э., то тюркский язык-основа, надо полагать, существовал уже до II тысячелетия до нашего летоисчисления, а алтайский язык-основа, отделившийся от урало-алтайской языковой общности, — задолго до этого, приблизительно до VI тысячелетия до н. э.

В этой связи возникает вопрос, в какой приблизительно период формировалась и существовала урало-алтайская языковая общность. Если учесть то обстоятельство, что общие для всех урало-алтайских языков корневые слова едва ли составляют 1,5—2 процента, то со времени отделения уральских и алтайских языков, т. е. распада урало-алтайской языковой общности, надо полагать, прошло несколько тысячелетий. Поэтому М. Ряснен относит формирование урало-алтайской языковой общности к раннему каменному веку, т. е. к периоду до X тысячелетия до нашего летоисчисления (132—стр. 20). Хронологически это время находится в соответствии с приведенными выше данными по лексикостатистике в уральских и частично в тюркских языках. Общую графическую схему развития урало-алтайских языков можно представить в следующем виде. (Для составления ее нами использованы упомянутые выше схемы Н. А. Баскакова, Б. Я. Владимирцова, Б. Мункачи, Н. Поппе, Г. И. Рамстедта, М. Ряснена, Д. Фокош-Фукса и др.)

* После выхода в свет подготовленного к изданию полного «Словаря древнетюркского языка» представится возможность для разработки вопросов тюркской лексикостатистики и для более точного определения процентного соотношения общих корневых слов в древнетюркском и в каждом отдельном языке тюркской группы, в результате чего можно будет установить период отделения современных тюркских языков как от древнетюркского, так и друг от друга, а затем определить период существования общетюркского языка-основы. (Д. К.)

Урало-алтайская языковая общность (приблизительно до X тысячелетия до н. э.)

Уральская языковая общность (приблизительно до VI—V тысячелетия до н. э.)

Финно-угорский язык-основа (приблизительно конец III тысячелетия до н. э.)

Угорский язык-основа (приблизительно конец III и середина I тысячелетия до н. э.)

Самодийский язык-основа (приблизительно до III тысячелетия до н. э.)

Финно-пермский язык-основа (конец III и середина II тысячелетия до н. э.)

Алтайская языковая общность (приблизительно до VI тысячелетия до н. э.)

Тюрко-монгольский язык-основа (приблизительно до IV тысячелетия до н. э.)

Монгольский язык-основа (приблизительно середина II тысячелетия до н. э.)

Тунгусо-маньчжурский язык-основа (приблизительно до IV тысячелетия до н. э.)

Тюркский язык-основа (приблизительно до II тысячелетия до н. э.)

Западнотюркские языки

Восточнотюркские языки

Восточные самодийские языки

Западные самодийские языки

Северная, или тунгусская группа

Южная, или маньчжурская группа

**§ 5. ОБ ИЗУЧЕНИИ УРАЛО-АЛТАЙСКИХ
ЯЗЫКОВ И ВОЗНИКНОВЕНИИ
УРАЛО-АЛТАЙСКОЙ ТЕОРИИ**

По урало-алтайским языкам имеется много литературы, вышедшей в течение 240 лет на русском, английском, французском, шведском, финском и больше всего на венгерском и немецком языках. Проблемой урало-алтайских языков занимались и занимаются известные ученые мира, начиная с первой четверти XVIII века по сегодняшний день.

В этом разделе даются лишь краткие и далеко не полные сведения об изучении урало-алтайских языков и об основных исследованиях по этой проблеме.

В научной литературе зачинателем в области изучения урало-алтайских языков считается шведский офицер Ф. Й. Страленберг, который во время русско-шведской войны в начале XVIII века попал в плен к русским и Петром Первым был отправлен в Сибирь, где долгое время собирал сведения о народах и языках на Востоке России. По возвращении в Швецию он выпустил в Стокгольме большую книгу под названием «Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia» («Северо-восточная часть Европы и Азии», Стокгольм, 1730). Исходя из языковых данных, Ф. Страленберг делил народы этой обширной территории на шесть групп: 1) уйгуры (так он называл финно-угров), 2) тюркотатары, 3) самодийцы, 4) монголы и маньчжуры, 5) тунгусы и 6) племена между Черным и Каспийским морями (80—стр. 15).

Продолжительное пребывание на восточной окраине России и личный контакт с людьми, говорящими на этих языках, позволили ему в основном правильно сгруппировать урало-алтайские языки и народы за исключением маньчжуров, которых он объединил с монголами, а не с тунгусами. Что касается «племен между Черным и Каспийским морями», то Ф. Страленберг о них имел, очевидно, мало представления, поскольку он на Кавказе не был.

Интенсивные исследования урало-алтайских языков начинаются в XIX веке. Одним из первых ученых, выступивших как сторонник родства урало-алтайских языков, был профессор Берлинского университета, востоковед В. Шотт, который выпустил небольшую книгу «Versuch über die tatarischen Sprachen» («Опыт изучения татарских языков», Берлин, 1836). В своей книге он приводит много

лексических и грамматических соответствий, которые являются общими для всех урало-алтайских языков. В. Шотт дал более правильную классификацию урало-алтайских языков и в отличие от Ф. Страленберга разделил их на четыре группы: уральскую, тюркскую, монгольскую и тунгусскую.

Почти одновременно с В. Шоттом изучением урало-алтайских языков занимался также эстонский языковед Ф. Е. Видеман, выпустивший большое исследование под названием «О древней территории чудских народов и их языковом родстве с народами Центральной Азии». Его книга вышла в 1838 году на немецком языке («Über die früheren Sitze der tschudischen Völker und ihre Sprachverwandtschaft mit den Völkern Mitteleuropas»). В своем труде Ф. Видеман сделал смелую попытку доказать, что финно-угорские народы, или «чудские народы», как он их называл тогда, в языковом отношении являются родственными с народами Центральной Азии, т. е. с маньчжурами, монголами и тюрками (152—стр. 5—6). Современный финский урало-алтаист М. Рясänen, выступивший с докладом «О родстве урало-алтайских языков» на заседании Финской Академии наук в 1963 году, склонен считать Ф. Видемана первым, который в ученом мире провозгласил тезис о родстве финно-угорских («чудских») языков с маньчжурскими, монгольскими и тюрко-татарскими (146—стр. 161). Но книга Ф. Видемана вышла все же на 2 года позже (1838), так что приоритет остается за В. Шоттом, работа которого (см. выше) вышла в 1836 году.

Однако заслуга Ф. Видемана состоит в том, что он в своем труде указал на ряд сходных и общих грамматических и частично фонетических признаков, отличающих урало-алтайские языки от индоевропейских. Эти сходные черты, характерные для всех урало-алтайских языков, сводятся к следующим: 1) наличие гармонии гласных (сингармонизм), 2) отсутствие грамматического рода, 3) отсутствие артикля, только числительное со значением «один» употребляется в функции неопределенного артикля, 4) словоизменение при помощи постпозитивных аффиксов, т. е. путем агглютинации, 5) присоединение к именам одних и тех же падежных аффиксов как в единственном, так и во множественном числе, 6) числительные и прилагательные в функции определения перед существительными не изменяются, 7) наличие притяжательных аффиксов, 8) обилие аффиксов,

образующих глагольные формы, в частности кратные, мгновенные и т. д., 9) употребление послелогов вместо предлогов, 10) постановка определения перед определяемым, 11) употребление существительных в качестве определения, указывающего на материал, из которого сделан предмет, 12) употребление существительных в единственном числе после числительных, 13) употребление исходного, или отдалительного, падежа (аблатива) в оборотах сравнения, 14) отсутствие вспомогательного глагола со значением «иметь» и употребление вместо него вспомогательного глагола со значением «быть», 15) наличие в большинстве урало-алтайских языков специального глагола отрицания, 16) наличие агглютинирующейся вопросительной частицы, 17) употребление причастных и деепричастных конструкций в сложных предложениях вместо конструкций с союзами, т. е. паратаксис вместо гипотаксиса (152—стр. 7). При этом Ф. Видеман, очевидно, не учитывал случаи согласования определения и определяемого в числе в некоторых группах урало-алтайских языков, в частности в прибалтийско-финских и тунгусских.

На общие фонетические и грамматические признаки урало-алтайских языков указывал также венгерский ученый Бернат Мункачи. Кроме перечисленных Ф. Видеманом признаков, Б. Мункачи выделил, в частности, чередование согласных $k-g$, $k-f$, $x-f$; наличие только одного согласного звука в начале слова; устойчивость звуков в корне слова; наличие притяжательного склонения; ударяемость первого или последнего слога (139—стр. 24—35).

Что касается устойчивости звуков в корне слова, то здесь требуются некоторые уточнения, так как во многих урало-алтайских языках мы обнаруживаем чередование как гласных, так и согласных звуков в корне слова, в частности, чередование ступеней согласных в падежной системе прибалтийско-финских языков, чередование ступеней согласных у числительных, прилагательных и наречий при логическом ударении в северных тюркских языках, в частности в башкирском, татарском и чувашском, ср. башк. *алыҫ* 'далеко' и *аллыҫ* 'очень далеко', чув. и башк. *ике* и *икке* 'два', тат. *сигез* и *сиггез* 'восемь', *тугыз* и *туггыз* 'девять'; в южнотюркских языках удлинение согласных в корне числительных теперь окончательно установилось, ср. азерб. *йедди* 'семь', *сәккиз* 'восемь', *доггуз* 'девять' (79—стр. 74); далее: чередование некоторых начальных

согласных звуков в определенных фонетических условиях в кипчакско-тюркских и чувашском языках (так называемое анлаутное сандхи), чередование гласных *a—э (e)* в корне слова в уйгурском языке под влиянием аффиксального *и* (так называемый *и* умляют), ср. уйгур. *баи* 'голова', но *бешим* 'моя голова', *ал* 'взять', но *елип* 'взяв' (107—стр. 48—49); чередование гласных в корне слова в хантыйском языке и особенно в его диалектах, ср. хант. диал. *ван* 'плечо', но *вунэм* 'мое плечо', *лотта* 'купить', но *луты* 'купи' или *катлта* 'поймать', но *китли* 'поймай' (93—стр. 20—21).

Наконец, следует отметить наличие сингармонических параллелизмов в монгольских, маньчжурских, северных тюркских и венгерском языках, в которых это явление также связано с чередованием передних и задних гласных в корне слова и с изменением при этом значения слова. Речь идет здесь о чередовании гласных в словах типа маньч. *арсалан* 'лев' и *эрсэлэн* 'львица', *ама* 'отец' и *эмэ* 'мать', *амака* 'тесть' и *эмэкэ* 'теща', *хаха* 'мужчина' и *хэхэ* 'женщина' (30—стр. 118—119) или ср. еще венг. *арра* 'туда' и *ерре* 'сюда', *аз* 'то' и *ез* 'это', *család* 'семья' и *cseléd* 'прислуга' (8—стр. 52—53); башк. *һалмак* 'тяжелый' (характером) и *һәлмәк* 'тяжелый' (в весе), *кайны* 'тесть' и *кайнә* 'теща', ср. тат. диал. *ачы* и *әче* 'горький и кислый' (29—стр. 22).

С точки зрения индоевропейских языков, можно было бы рассматривать чередование гласных и удлинение согласных в приведенных примерах как фонетическое явление. Однако это вряд ли связано только с фонетическими причинами, поскольку здесь во многих случаях налицо изменение значения слова. Очевидно, здесь действуют другие законы урало-алтайских языков. Венгерский ученый Й. Балашша в свое время, правда, указывал на эти законы, сущность которых заключается в том, что форма с гласным переднего ряда указывает на близость, а с гласным заднего ряда — на удаленность предмета, или форма с передними гласными имеет более мягкое значение, а форма с задними гласными — сильное и строгое значение (8—стр. 51).

Приведенные Йожефом Балашша многочисленные примеры на сингармонические параллелизмы не являются особенностью одного только венгерского языка. Наличие этих сингармонических параллелизмов в некоторых тюркских, тунгусо-маньчжурских и частично в монгольских языках

говорит о многом; они являются древнейшим наследием урало-алтайских языков. Сингармонические параллелизмы представляют собой разновидность сингармонизма, и они не могут быть отнесены к заимствованиям внутри урало-алтайской семьи; их невозможно считать также заимствованиями из других языков.

Г. И. Рамstedт, признававший родство только алтайских языков, включая в эту семью и японский (146—стр. 108—113), и отрицательно относившийся к урало-алтайской теории, в своем докладе «Отношение алтайских языков к другим языковым группам» указывал в свое время на ряд сходных синтаксических признаков, свойственных алтайским языкам (132—стр. 121). Многие из этих признаков совпали с теми, которые приводил Ф. Видеман (см. выше). Г. И. Рамstedт указывал еще на следующие синтаксические признаки, являющиеся, на наш взгляд, не только общими с алтайскими языками, но и характерными для большинства урало-алтайских языков, в частности: постановка подлежащего в начале предложения; определение и определение падают одно интонационное целое, если на определение падает главное ударение, а на определяемое — второстепенное; определяемое может принимать разные аффиксы, а определение не принимает аффиксов; наречие стоит перед сказуемым; синтаксическое отношение может быть отчетливо выражено и тогда, когда имя стоит в неопределенном падеже (132—стр. 121).

Кроме Ф. Видемана, Б. Мункачи и Г. И. Рамstedта, на общие грамматические черты уральских и алтайских языков указывали также финский ученый П. Равила, венгерский ученый М. Жираи, а на общие лексические соответствия — французский ученый А. Совансо и финский урало-алтаист М. Рясянен (132—стр. 120; 126—стр. 226).

Вслед за В. Шоттом и Ф. Видеманом в середине XIX века одним из первых исследователей урало-алтайских языков был финский ученый М. А. Кастрен, изучавший эти языки во время своих путешествий в восточные окраины тогдашней России, где он собрал огромный фактический материал по названным языкам. Впоследствии М. А. Кастрен изложил свою точку зрения о родстве урало-алтайских языков в ряде работ, опубликованных на немецком и шведском языках под общим названием «Nordliche Reisen und Forschungen» («Северные путешествия и исследования», 1845, 1849 г. г.), а также в трудах, посвященных иссле-

дованию отдельных языков, в частности «Die Samojedische Grammatik» («Самоедская грамматика», 1854), «Grundzüge der tungusischen Sprachlehre» («Основные черты тунгусского языка», 1856), «Versuch einer burjätischen Sprachlehre nebst kurzen Wörterversuchnis» («Опыт изучения бурятского языка с приложением краткого словаря», 1857), «Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre» («Опыт изучения койбальского и карагасского языка», 1857) и т. д.

М. А. Кастрен, развивая высказанную В. Шоттом еще в 1836 году теорию о родстве уральских и алтайских языков, впервые подробно разработал урало-алтайскую теорию и положил начало сравнительно-историческому изучению уральских и алтайских языков (10—стр. 28—29).

В середине прошлого столетия урало-алтайскую теорию поддерживал также видный русский ученый, санскритолог О. Бётлингк, который изложил свою точку зрения по этому вопросу в известной книге «Über die Sprache der Jakuten» («О языке якутов», 1851).

В конце XIX и начале XX веков ученые значительно расширили область урало-алтайских языков, включая в эту семью также и японский и корейский языки. В этом отношении особого внимания заслуживают многочисленные исследования немецкого ученого, востоковеда Бреслауского университета Г. Винклера, поддерживавшего теорию родства урало-алтайских языков и особенно точку зрения М. А. Кастрена. Как М. А. Кастрен и другие ученые, Г. Винклер к урало-алтайской семье относил финно-угорские, самоедские, тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские языки и дал им подробную лексико-грамматическую характеристику. Г. Винклер в своих ранних исследованиях оставлял под вопросом принадлежность корейского и японского языков к урало-алтайской семье (153—стр. 54—57). Особого внимания заслуживают исследования Г. Винклера по урало-алтайским языкам «Uralaltaische Völker und Sprachen» («Урало-алтайские народы и языки», 1884), «Der uralaltaische Sprachstamm; das Finnische und das Japanische» («Урало-алтайский протоязык; финский и японский языки», 1909) и т. д.

Корейский и японский языки считали родственными с урало-алтайскими также венгерские ученые Б. Мункачи, В. Преле, Б. Лауфер и В. Адлер. Их точка зрения нашла отражение в большом коллективном труде «Eguetemes

igodolom történet» («Университетская история литературы», том IV, 1911), изданном под редакцией Г. Густава. Однако эти ученые, в отличие от А. Боллера, В. Шотта, Г. Винклера, Е. Д. Поливанова, Г. И. Рамстедта и других, не включали корейский и японский языки непосредственно в урало-алтайскую семью, а возводили урало-алтайские языки, с одной стороны, и корейский и японский, с другой, к более древнему языковому типу, назвав его термином «osty-gus». В свою очередь, из этого древнего языкового типа, как явствует из их классификации и схемы, отпочковались две ветви: 1) японо-корейско-айну языки и 2) урало-алтайская семья языков (136—стр. 37). В данном вопросе точку зрения Б. Мункачи, В. Преле и других о наличии весьма отдаленных родственных связей между урало-алтайскими языками, с одной стороны, и японо-корейско-айну языками, с другой, следует считать более правильной и обоснованной. Исходя из этого, мы не включаем корейский и японский языки в урало-алтайскую семью, считая, что урало-алтайские языки составляют совершенно отдельную, самостоятельную ветвь, а японо-корейские языки — другую ветвь подобно тому, как уральские и алтайские языки представляют собой две отдельные ветви обширной урало-алтайской семьи.

К числу сторонников урало-алтайских языков относятся также такие ученые прошлого века, как А. Боллер, А. Алквист, В. Банг, О. Доннер, а в начале нашего столетия — В. Преле, Б. Мункачи, Р. К. Раск и другие, посвятившие исследованию фонетики, грамматики и лексики урало-алтайских языков ряд работ, анализ которых не представляется возможным в данной книге. Подробный обзор литературы по затронутой проблеме дан в работах Н. А. Баскакова, М. Рясина, Д. Фокош-Фукса, Д. Де-чи (11—стр. 5—20; 80—стр. 15—26; 146—стр. 161—171; 132—стр. 117—131; 126—стр. 225—228).

В заключение заметим, что в отношении родства урало-алтайских языков особой точки зрения придерживается крупный венгерский ученый Ю. Немет, который считает тюркские языки родственными с уральскими, в частности с угорскими, и ставит под сомнение родство тюркских языков с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими (12—стр. 14). Для выдвижения такой региональной урало-тюркской гипотезы внутри урало-алтайских языков имеется некоторое основание, так как уральские языки, особенно

финно-угорские, в частности угорские, марийские, удмуртский, в процессе своего исторического развития уже в нашу эру имели больше соприкосновения с тюркскими языками, чем, скажем, с тунгусо-маньчжурскими. Поэтому в уральских и тюркских языках можно обнаружить больше общих лексических и грамматических черт. Однако это еще вовсе не говорит о том, что в других урало-алтайских языках отсутствуют общие лексико-грамматические признаки, указывающие на древнее родство этих языков. Эти общие черты, особенно морфологические, невозможно обнаружить путем лишь синхронного сравнения лежащих на плоскости языка фактов.

Заметим также, что в сущности угро-тюркская гипотеза, являющаяся более узким вариантом современной урало-тюркской теории Ю. Немета, не новая идея. Она была выдвинута еще во второй половине XIX века видным венгерским востоковедом А. Вамбери. По этому вопросу в ученых кругах тогдашней Венгрии в течение нескольких лет продолжалась оживленная дискуссия, пока другой крупный венгерский ученый Й. Буденц, выступавший тогда против угро-тюркской гипотезы, окончательно не решил этот спор, доказав своими исследованиями по сравнительной лексике и морфологии угорских языков родство венгерского языка с мансийским, хантыйским и другими финно-угорскими языками (53—стр. 11).

Однако в своих позднейших исследованиях Ю. Немец, анализируя и уточняя приведенные Й. Буденцем лексические соответствия в урало-алтайских языках и учитывая высказывания Л. Лигети по этому вопросу, пишет, что в этом случае мы остаемся пока на урало-алтайской основе и что родство урало-алтайских языков является весьма вероятным, но не очевидным (66—стр. 127).

§ 6. СОВРЕМЕННАЯ УРАЛИСТИКА И АЛТАИСТИКА В СВЕТЕ УРАЛО-АЛТАЙСКОЙ ТЕОРИИ

В конце XIX века в недрах классического сравнительно-исторического языкознания, основанного Францем Боппом в начале XIX века, возникло новое направление, получившее впоследствии название младограмматическое.

В отличие от представителей старой школы сравнительно-исторического языкознания, которые преимущественно занимались исследованием древнеписьменных индоевропейских языков, в частности санскрита, древнегреческого, латинского, готского, старославянского и других, основатели новой младограмматической школы К. Бругман, Г. Пауль, Б. Дельбрюк и другие в противовес концепциям старой школы выдвинули на первый план сравнительное изучение живых языков, которые дают больше материала для вскрытия закономерностей развития языка, и рассматривали язык как живой организм. Они изучали главным образом фонетические явления языка, стремясь при этом установить твердые фонетические законы языка и тем самым превратить лингвистику в законополагающую науку (31— стр. 144—145). Наряду с открытием и формулированием ряда фонетических законов младограмматики разработали и применили в сравнительно-историческом языкознании новые и более совершенные методы для доказательства достоверности тех или иных фонетических и грамматических явлений. Эти методы достигли своего наибольшего совершенства в многочисленных исследованиях французского языковеда конца XIX и начала XX века, представителя социологического направления в языкознании Антуана Мейе.

Концепции младограмматической школы оказали огромное влияние также и на урало-алтайское языкознание, представители которого в середине и конце XIX века в своих исследованиях в основном руководствовались методами старой школы сравнительно-исторического языкознания. После того как новые методы младограмматической школы стали широко применять в сравнительно-историческом исследовании родственных языков, урало-алтайская теория была поставлена под сомнение и, как отмечает М. Рясянен, уверенность в наличии родства между уральскими и алтайскими языками пошатнулась, в некоторых кругах стали сомневаться даже в родстве самой алтайской семьи языков (80— стр. 15).

В настоящее время доказанным считается родство только уральских (финно-угорских и самодийских) языков. Большая заслуга в решении этого вопроса принадлежит финским ученым Э. Н. Сетяля и Х. Паасонену, которые посвятили этой проблеме ряд исследований, в частности можно указать на работу Э. Сетяля «К вопросу о родстве

финно-угорских и самоедских языков» (148), а также на работу Х. Паасонена «К вопросу об исторической фонетике финно-угорских и самоедских языков» (140).

За последнее десятилетие по проблеме уральских языков вышло несколько серьезных работ. Среди них можно выделить книгу шведского ученого Б. Коллиндера «Введение в уральские языки» (125), работу советского ученого Б. Серебrenникова «Основные линии развития падежной и глагольной системы в уральских языках» (1964) и работу венгерского ученого П. Хайду «Введение в уральское языкознание» (137).

Что касается родства алтайских языков между собой, т. е. монгольских, тунгусо-маньчжурских и тюркских, то в этом вопросе нет единого мнения ни среди советских, ни среди зарубежных ученых.

Одним из первых советских ученых, признавшим генетическое родство не только алтайских языков между собой, но и корейского языка с алтайскими, был Е. Д. Поливанов, изложивший свою точку зрения по этой проблеме еще в 1927 году (72—стр. 1195—1204). В 30-х и 40-х годах, когда в советском языкознании возобладал марризм и, как справедливо пишет А. М. Щербак, «...все лингвистические школы, кроме яфетидологии, подверглись разгрому, и крупнейшие представители русской и западной лингвистики были преданы забвению и поруганию, а ...основным средством решения научных споров (в советском языкознании — Д. К.) на долгое время стало умышленное перенесение их в область политики» (112—стр. 6), начатая Е. Д. Поливановым советская алтаистика как языковедческая наука временно прекратила свое существование и была забыта.

В настоящее время в советском языкознании в защиту алтайских гипотез выступает известный советский тюрколог Н. А. Баскаков (12—стр. 13), который вслед за Е. Д. Поливановым и Г. И. Рамstedтом склоняется также к признанию генетического родства между корейским и алтайскими языками, считая, что в корейском и алтайских языках имеется большее количество лексических и грамматических элементов, которые могут быть объяснены их общим происхождением, чем в алтайских и уральских языках (11—стр. 6).

Однако это утверждение Н. А. Баскакова вряд ли соответствует действительному положению, так как общих

грамматических черт в уральских и алтайских языках гораздо больше, чем в корейском и алтайских. Эти общие черты превышают даже то количество, которое приводится Ф. Видеманом, Б. Мункачи и Г. И. Рамstedтом. Эти ученые не могли их обнаружить из-за недостатка материала по всем урало-алтайским языкам и отсутствия тогда системно-структурного подхода к языковой действительности. Что касается наличия общих лексических элементов, на что ученые обращают главное внимание в качестве аргумента для отрицания или признания генетического родства уральских и алтайских языков между собой или внутри самой алтайской семьи, то для установления материального родства этих языков решающими являются не только одни лишь лексические соответствия. Поскольку урало-алтайская языковая общность (или язык-основа) существовала задолго до X тысячелетия до н. э. и со времени распада этого языка-основы прошло, надо полагать, 15—20 тысячелетий, то, исходя из данных диахронической лексикостатистики, можно сказать, что общие лексические соответствия в урало-алтайских языках могут даже отсутствовать или составлять крайне небольшой процент (см. § 4).

Признавая только алтайскую гипотезу, Н. А. Баскаков в то же время отрицательно относится к теории родства между алтайскими и уральскими языками и считает урало-алтайскую теорию спорной и менее вероятной. По его мнению, данная теория не имеет достаточно веских доказательств, так как угро-финские (или уральские) и алтайские языки имеют главным образом типологическое, но не генетическое сходство. При этом в качестве оговорки Н. А. Баскаков отмечает, что некоторые исследователи (Б. Коллиндер, М. Рясянен и др.) приводят около трехсот лексических сопоставлений из уральских и алтайских языков и объясняют их либо очень древним родством этих языков, либо древними заимствованиями (12—стр. 113). Кстати, заметим, что Б. Коллиндер в своей работе, посвященной исследованию финно-угорской лексики (в разделе «Урало-алтаистика»), приводит только 72 слова, общих для финно-угорских, монгольских, тюркских и тунгусо-маньчжурских языков (125—стр. 142—149), а М. Рясянен — 180 общих лексических соответствий (80—стр. 22).

Венгерский ученый Д. Дечи, являющийся противником не только урало-алтайской теории, но и резко отри-

цающий родство алтайских языков между собой, ставит общность приводимых Б. Коллиндером лексических сравнений под сомнение и, ссылаясь на Ю. Немета и других исследователей, пишет, что только 15 слов, относящихся к уральскому языку-основе, можно сопоставить и найти соответствия им в алтайских языках. По его мнению, эта небольшая группа слов может быть древним заимствованием, а поэтому не говорит в пользу родства урало-алтайских языков (126— стр. 226—227).

Однако, как пишет сам Ю. Немец, после проверки приводимых венгерским тюркологом Й. Буденцем 122 лексических соответствий он установил, что в уральских и тюркских языках обнаружено около 30 (а не 15) явных лексических соответствий. По его сведениям, эти слова имеют соответствия также и в монгольских языках, но их меньше в тунгусо-маньчжурских (65— стр. 127).

Д. Дечи ставит под сомнение также и сам термин «алтайский». При этом он пишет, что «прародина алтайских языков территориально не определена даже приблизительно. Предполагают, что древняя территория совместного обитания предков народов, говорящих в настоящее время на алтайских языках, была либо где-то в Сибири, либо в Алтайском нагорье. В основе своей эта шаткая гипотеза ничем не может быть оправдана» (126— стр. 226).

Некоторые зарубежные ученые, как об этом вскользь замечает Н. Поппе, свои аргументы против древнего родства алтайских языков мотивируют тем, что на снежных горах Алтая не могли когда-либо обитать люди (141 — стр. 6). Несостоятельность такого аргумента очевидна.

Нетрудно также догадаться, что это связано с общим представлением многих западноевропейцев о Сибири и Алтае как о безжизненной территории вечного холода и снежных бурь.

Термин же «алтайские языки» является условно принятым лингвистическим обозначением. В советском языкознании этот термин не вызывает никаких споров.

Что касается родства урало-алтайских языков, то Д. Дечи опять-таки весьма скептически относится к их алтайской ветви и считает, что «исследования по генетическому родству урало-алтайских языков (если это вообще возможно) только тогда могут быть удачными, когда удастся доказать генетическое родство алтайских языков между собой и сконструировать общеалтайский язык-основу»

(126— стр. 227—228). При этом Д. Дечи почему-то умалчивает об исследованиях В. Банга, Й. Грунцеля, Г. И. Рамстедта, М. Рясанена, В. Котвича и других ученых, которые много сделали для воссоздания общеалтайского языка-основы как в фонетическом, так и в грамматическом отношении.

В сущности Д. Дечи здесь развивает точку зрения известного венгерского ученого Л. Лигети, высказанную им в своих ранних работах, т. е. еще в 1933—1934 годах. Л. Лигети предположительно писал тогда, что происхождение тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков из алтайского языка-основы остается неясным; существование этого языка-основы до сих пор научно не доказано. «Но при этом Л. Лигети оговаривался и считал вероятным, что не тюркские языки стоят в близком родстве с монгольскими, как это предполагали до сих пор, исходя из наличия большого количества тюркских заимствований в монгольских языках, а тунгусо-маньчжурские языки с монгольскими... Монгольско-тунгусо-маньчжурское языковое единство, по-видимому, существовало еще долго после того, как тюркские языки отпочковались от алтайского языка-основы» (132— стр. 54).

Однако в своих позднейших работах, в частности в своем докладе об отношении алтайских языков к уральским, опубликованном в «Известиях отделения языкознания и литературоведения Венгерской Академии наук» (№ 1, V, 1952, стр. 333—348), Л. Лигети изменил свою точку зрения о родственном отношении внутри алтайских языков. Он, между прочим, говорил, что «на основе результатов исследований складывается такое впечатление, что тюркские языки тесно связаны с монгольскими, а последние, в свою очередь, с тунгусо-маньчжурскими. Тюркские же языки отдалены от тунгусо-маньчжурских». Далее Л. Лигети писал, что в настоящее время многие обстоятельства говорят в пользу родства алтайских языков. Но при этом он подчеркивал, что решающее слово в этом вопросе принадлежит исследователям, удовлетворяющим методологические требования, без чего было бы преждевременным и поспешным признание или отрицание родства алтайских и уральских языков (132— стр. 55).

Как видно из его высказываний, в своих последних работах Л. Лигети одобрительно относится к проблеме родства алтайских языков и при определенных условиях

считает возможным также родство между алтайскими и уральскими языками. Сведения Н. А. Баскакова о том, что Л. Лигети считает родство алтайских языков вполне возможным, но еще недостаточно доказанным (12— стр. 13) взяты, по-видимому, из прежних высказываний Л. Лигети по данному вопросу.

В отличие от Н. А. Баскакова и некоторых других советских ученых, признающих генетическое родство алтайских языков, советский тюрколог А. М. Щербак к алтайской гипотезе относится резко отрицательно. По его утверждению, появление сравнительных грамматик алтайских языков (имеются в виду работы Г. И. Рамстедта и Н. Поппе — Д. К.) не привело к окончательному решению алтайской проблемы. Напротив, оно вызвало усиление скептицизма и способствовало возникновению такой ситуации когда для широкого круга исследователей алтайская гипотеза по существу утрачивает научную ценность (113— стр. 21). Дальнейшие же его доводы против алтайской гипотезы в сущности не отличаются от доводов некоторых зарубежных ученых, в частности американца Дж. Клоусена, немецкого ученого Г. Дерфера и других, являющихся также противниками родства алтайских языков.

Вслед за Дж. Клоусеном А. М. Щербак считает, что наличие большого количества общих лексических элементов в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках является результатом длительного и интенсивного контакта тюркских и монгольских языков, начиная с IV по XVI век, с одной стороны, и монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, начиная с X по XIII век, с другой (113— стр. 22; 122— стр. 184—186). Об общих лексических элементах в названных языках Г. Дерфер, в частности, пишет, что «в словах, считающихся общеалтайскими, речь идет о старых тюркских заимствованиях в монгольских и о старых монгольских заимствованиях в тунгусских языках» (129— стр. 81). Далее Г. Дерфер утверждает, что монгольских слов в тунгусских языках очень мало; речь может идти только о заимствованиях в области культурных слов типа *морин* 'конь' и т. д. Сравнение же тунгусских и тюркских языков дает еще больший повод против родства алтайских языков (127— стр. 111—114). В другой работе Г. Дерфера мы читаем: «Есть, например, слова, общие для тюркских и монгольских, есть также слова, общие для монгольских, тунгусских и отдельные слова, общие для

всех трех языков, но нет слов, общих для тюркских и тунгусских» (129— стр. 92—94). К сведению читателей заметим, что в тунгусских языках можно обнаружить сотни слов, общих с тюркскими. Некоторые из них приведены нами (42— стр. 93—94).

Об общих лексических элементах в алтайских языках А. М. Щербак пишет, что тюркские языки, «поставляя» монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам собственную лексику, являлись вместе с тем своеобразной перевалочной базой (?) для слов, заимствованных из древних индоевропейских языков Средней Азии и Восточного Туркестана: тохарского, согдийского и других (113— стр. 35).

Такое упрощенное толкование наличия большого общего лексического фонда в алтайских языках явно ставит монгольские и тунгусо-маньчжурские языки в зависимое положение от тюркских в процессе их исторического развития в ущерб их специфических особенностей как в лексическом, так и в грамматическом отношениях.

Как известно, большинство слов, относящихся к общему алтайскому лексическому фонду, в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках являются общеупотребительными в быту, в повседневной жизни, как и те же слова в тюркских языках. Без этих общеупотребительных в повседневной жизни слов невозможно было бы взаимное общение между людьми, говорящими на монгольских или тунгусо-маньчжурских языках. Поэтому возникает вполне логичный вопрос: какие же слова употребляли древние монгольские и тунгусо-маньчжурские племена в своем быту, в повседневной жизни до заимствования их из тюркских языков, скажем, до IV—VII веков, т. е. до начала контактов между тюрками и монголами, и до X—XII веков — до начала контактов между монголами и тунгусо-маньчжурами, как это датирует Дж. Клоусен (124— стр. 184—186)?

В своей работе «О характере лексических взаимосвязей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков» А. М. Щербак, как и Г. Дерфер, для сравнения берет три тематические группы слов — «названия космических тел и явлений», «названия времен года, дня и ночи и т. д.», «названия животных» в алтайских языках (всего 16 лексических параллелей) и приходит к выводу, что четыре из этих лексических параллелей являются случайными, две относятся к «культурным словам», четыре являются

неясными, а о происхождении остальных нельзя сказать ничего определенного (113— стр. 23, 30).

Кроме того, А. М. Щербак, как и Г. Дерфер, в качестве другого аргумента для отрицания генетического родства алтайских языков ссылается на то, что числительные от 1 до 10 в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках не совпадают и не могут быть выведены из единых праформ (113— стр. 23). Тот же аргумент мы находим и у Г. Дерфера, который утверждает, что все языки, родства которых было доказано, имеют общие числительные; алтайские же языки не имеют общих числительных; следовательно, они не родственны между собой (129— стр. 81).

При этом названные ученые, очевидно, не учитывают то положение, что числительные имеют предельно отвлеченное значение и, в отличие от других частей речи, в частности от существительных, не наделены предметностью. Числительные развивались крайне медленно и связаны с мыслительной деятельностью человека больше, чем, скажем, существительные. По справедливому замечанию крупного советского тюрколога В. А. Гордлевского, числительные развивались по этапам в соответствии с постепенным расширением числового представления у человека. В. А. Гордлевский, между прочим, писал, что первоначально числительное *пять* было потолком счета. Потом вступают в строй десятки (10, 20, 30, 40, 50 и т. д.); каждый десяток представляет собой эпоху в развитии числительных — десятиричную, двадцатиричную, тридцатиричную и т. д. (124— стр. 146).

Исходя только из этого, можно объяснить наличие разных числительных для передачи числового понятия 30, 40, 50, 60 даже в пределах тюркских языков, считающихся близкородственными. Однако путем детального системно-структурного анализа образования числительных можно обнаружить общие корни (или общие протокорни) не только в алтайских, но и в уральских языках. Причем, для выяснения общих корней числительных в названных языках недостаточен один только фонетический анализ, крайне необходим структурный морфологический анализ с учетом категории числа вообще и развития числового понятия у человека. А развитие числового представления у людей, говоривших на урало-алтайских языках, было одинаковым, о чем свидетельствует общность структурной модели образования многих простых числительных и их разрядов.

Так, общетюрк. *төрт*, халха-монг. *дөрөв*, эвенк. *дыгин* 'четыре' имеет первокорень (или протокорень) соответственно *тө-*, *дө-*, *ды-*, о чем говорит то обстоятельство, что в халха-монгольском языке к первокорню *дө-* наращивался показатель множественности *-и* и образовалось числительное *дөи* (из *дө-и*) 'сорок'. Для образования числительного со значения 'четыре' к первокорню *дө-* (из *тө-*) наращивался другой показатель множественности, то есть *-р*, напр. *дөр-*, а в тюркских языках — еще второй показатель множественности, то есть *-т*, например, *төрт*, *дөрт* (из *тө-р-т*) 'четыре'. В самодийских же языках к тому же протокорню в виде *те-* наращивался тот же общевралогийский показатель множественности *-т*, напр., ненецк. *тет*, нганас. *тета*, энецк. *тето* 'четыре' (о числительных):

Исходя из этого, вряд ли можно согласиться с категорическим утверждением Г. Дерфера, а вслед за ним и А. М. Щербака об отсутствии общих корней у числительных в алтайских языках, а их доводы не соответствуют, как было видно, действительности.

В качестве аргумента для отрицания родства алтайских языков, кроме утверждения об отсутствии общих корней у числительных, Г. Дерфер приводит еще два случая и пишет: «1— Система звуков обоих языков не идентична и не позволяет возвести к общему праязыку. 2— Глагольная система обоих языков также не идентична и не позволяет возвести к общей древней системе» (129— стр. 110). Для подтверждения своих доводов Г. Дерфер приводит некоторые примеры из области глагольных форм монгольских и тюркских языков (129— стр. 105—106). Но его примеры не могут убедить специалистов этих языков.

В заключительной части своей работы «К вопросу о родстве алтайских языков» (1966, на немецком языке) Г. Дерфер, проявляя некоторую осторожность в отрицании алтайской гипотезы, избрал все же более умеренный тон, носящий полемический характер. Сопоставляя родство между языками с родством биологических организмов, Г. Дерфер пишет: «В биологии различают гомологические и аналогические организмы. Гомологические организмы это те, которые одинаковы по происхождению, но развивались по разным направлениям. Следовательно, они родственны, несмотря на отсутствие внешнего сходства. Аналогические же организмы или образования это те, которые являются разными по происхождению, но под влиянием одинаковых

жизненных условий в течение продолжительного времени они приобретают одинаковые функции и являются схожими по форме» (129—стр. 121).

Исходя из этого положения, Г. Дерфер заключает, что в индоевропейских языках речь идет о гомологическом, а в алтайских — об аналогическом родстве, так как продолжительное совместное существование на одной и той же территории при одинаковых жизненных условиях (степное и кочевое скотоводство) и при широко распространенном культурном и языковом контакте возникла тесная общность и внутренняя связь, так что выражение «заимствование» может быть даже просто ошибочным, целесообразнее было бы назвать его термином «приобретенное родство» (129 — стр. 122). По мнению Г. Дерфера, «сильно развитое аналогическое родство в конечном итоге переходит в гомологическое родство, и алтайские языки стояли близко к этому, потому что соприкосновение этих языков было уже в древнейшие времена. Только потом произошли большие изменения. Такое толкование в какой-то мере помогло бы разгадке алтайской гипотезы» (129—стр. 123).

В другой своей работе, специально посвященной вопросу о гомологическом и аналогическом родстве, Г. Дерфер приходит к выводу, что родственными являются не те языки, у которых доказана гомология, а те языки, у которых доказано, что здесь невозможно различать путем сравнения языков разницу между гомологией и аналогией; гомология не одинакова с родством, а исчезновение разницы между аналогией и гомологией есть родство (131).

Как видно из приведенной выдержки, Г. Дерфер все же склонен признать древнее родство между алтайскими языками. Но для обоснования своей точки зрения он избрал своеобразный путь. Что касается его сопоставления родства между языками с родством биологических организмов, то такое сопоставление можно допустить, поскольку язык — постоянно изменяющееся явление.

В заключение укажем еще на один, на наш взгляд, немаловажный момент в доводах Г. Дерфера. Если соприкосновение алтайских языков было уже в древнейшие времена, как пишет автор (см. выше), то от утверждения Дж. Клоусена о том, что интенсивные взаимодействия тюркских и монгольских языков начались в IV—VII, а монгольских и тунгусо-маньчжурских языков — в X—XII веках нашей эры (124—стр. 184—186), почти ничего не остается.

§ 7. УРАЛО-АЛТАИСТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Из сделанного в предыдущих параграфах общего обзора литературы по проблеме родства урало-алтайских и алтайских языков можно установить, что противники урало-алтайской гипотезы хотят, чтобы генетическое родство этих языков было доказано путем выявления главным образом общих лексических элементов, в большом количестве наличествующих во всех без исключения урало-алтайских языках. Другими словами, они настаивают на том, чтобы родство этих языков было доказано тем же путем, который в первой половине прошлого века было доказано генетическое родство индоевропейских языков.

Общеизвестно, что индоевропейские языки имеют очень древние письменные памятники, восходящие даже ко II тысячелетию до н. э., в частности памятники древнеиндийского языка, или ранний санскрит. Письменные памятники древнеиранского, древнегреческого языков восходят к тому периоду развития индоевропейских языков, который был относительно близок эпохе их территориального разобщения друг от друга, т. е. близок эпохе общиндоевропейского языка-основы. При этом следует учитывать еще то обстоятельство, что создатели письменных памятников — древние поэты и ученые — по традиции стремились отразить в своих произведениях язык более древней эпохи как в лексическом, так и в фонетико-грамматическом отношении. Исходя из этого, можно даже утверждать, что эти письменные памятники отражают языковые черты древнейшего периода развития индоевропейских языков.

Кроме того, языковые признаки, некогда зафиксированные в письменных памятниках, являются весьма устойчивыми и по традиции продолжают в основном существовать и в письменных памятниках последующих эпох.

Если учесть все эти обстоятельства, то становится понятным, почему в индоевропейских языках больше общих лексических элементов. В свою очередь, на основе большого количества общего лексического материала, зафиксированного в письменных памятниках, сравнительно нетрудно было проследить звуковые и грамматические из-

менения и при помощи сравнительно-исторического метода установить фонетическую прасистему и грамматические праформы индоевропейских языков. Так обстояло в общих чертах дело в индоевропейских языках и в основном таким путем было доказано их генетическое родство.

В урало-алтайских же языках мы имеем дело с совершенно другими условиями. Самые ранние письменные памятники отдельных урало-алтайских языков, в частности тюркских, относятся к VIII веку нашей эры (56—стр. 11—13; 123 — стр. 2). Отдельные небольшие енисейско-тюркские и таласские тексты, правда, датируются V—VI веками (57—стр. 5—8). Памятники старомонгольского языка написаны в конце XII и начале XIII века (82—стр. 4), как и связанный письменный памятник венгерского языка (8—стр. 18; 52—стр. 15). Памятники же финского, эстонского, коми-зырянского, узбекского, азербайджанского, турецкого и половецкого языков относятся в основном к XIV—XVI векам (6—стр. 5; 36—стр. 36; 51—стр. 16; 10—стр. 221 и 266; 25—стр. 108).

Что касается большинства других урало-алтайских языков на территории Советского Союза, то они до недавнего прошлого были бесписьменными и приобрели письменность лишь в советский период.

Тот факт, что сравнительно-историческая алтаистика и уралистика создавалась при трудных и неблагоприятных условиях, сознают также и венгерские ученые Л. Лигети и Д. Дечи, сопоставляя их с условиями, при которых возникла сравнительно-историческая индоевропеистика (49—стр. 133; 126—стр. 228).

Таким образом, перечисленные письменные памятники на отдельных урало-алтайских языках, по сравнению с памятниками индоевропейских языков, являются «молодыми» и хронологически весьма отдалены от эпохи урало-алтайской языковой общности (или языка-основы); они возникли в тот период развития урало-алтайских языков, когда со времени их локального разобщения друг от друга прошло уже несколько тысячелетий. Поэтому общие лексические элементы в этих памятниках могут быть весьма незначительными. Речь может идти о лексических соответствиях лишь ариального характера типа древнетюрк. *sab//sav* 'слово, речь' и венг. *so* с морфологической основой

сов — в том же значении. Под «ариальной» или «ариально-диалектной» лексикой здесь подразумеваются те лексические единицы, которые являются общими только для отдельных урало-алтайских языков или их диалектов; ср. например, эвенк. *инмэ*, фин. *äimä*, эрзян. *име*, тат. *инэ* 'игла', или эрзян. *пиче* 'сосна' и башк. *бешэ*, диал. *мешэ* 'молодая сосна', ср. еще фин. диал. *arake* 'небольшая площадь естественных лугов, расположенных в низине' (99—стр. 134), где сочетание *-ke* является словообразовательным аффиксом при основе *ara*, и ср. башк. *арал* — в том же значении, где *-л* является словообразовательным аффиксом при той же основе *ara*; ср. хант. диал. *сил* — 'пространство возле чего-либо' (93—стр. 186) и башк. диал. *син* — в том же значении; ср. древневенг. *sarkan* — 'дракон' (126—стр. 17) и башк. диал. *шаркана* — бранное слово в том же значении; ср. еще венг. *szuro* 'колкий' и башк. диал. *сарак*, башк. лит. *шарак* — в том же значении; или ср. еще эвенк. *пурта*, пермск. *пурт* 'нож', чув. *пуртэ* 'топор'; ср. манс. *хул*, венг. *hal* 'рыба', башк. *һыла* 'форель', *халау* 'уха' и т. д.

Таких примеров, встречающихся в отдельных языках или группах языков урало-алтайской семьи и не являющихся общими для всех из них, можно привести очень много. На этот момент не обращали внимания как противники урало-алтайской гипотезы, так и ее сторонники, стремившиеся выявить общие для всех названных языков лексические соответствия. Правда, по сведениям Н. А. Баскакова, некоторые ученые (Рясянен, Немет, Коллиндер и др.) приводят около трехсот общих лексических соответствий из уральских и алтайских языков, которые объясняются либо очень древним родством этих языков, либо древними заимствованиями (12—стр. 13). Однако эти лексические соответствия не могли бы служить доказательством древнего родства уральских и алтайских языков, если даже их было бы больше, так как путем лишь выявления общих лексических соответствий даже в большом количестве вряд ли можно доказать древнее родство урало-алтайских языков при современных строгих требованиях методики сравнительно-исторического исследования этих языков.

Относительно более ранних письменных памятников некоторых урало-алтайских языков следует сказать, что и в этих памятниках могут быть отражены более древние

черты, которые наличествовали в этих языках задолго до создания письменных памятников древними учеными или писцами. На это указывает тот факт, что в древнетюркских и древнеуйгурских письменных памятниках мы имеем дело с формой винительного падежа на *-F/-g* (или *-ыF/-иg*), которая совершенно отсутствует в современных тюркских языках, но имеется в современных монгольских языках, в частности, в халха-монгольском. Кстати, в халха-монгольском языке в определенных случаях, например, при наличии притяжательного местоимения в качестве определения перед прямым дополнением в винительном падеже, появляется также и аффикс винительного падежа *-ы*, который является аффиксом того же падежа в огузско-тюркских языках (для имен на согласную основу). С другой стороны, в халха-монгольском языке формант *-ы* выступает также и в функции родительного падежа после основ, оканчивающихся на *-н* преимущественно в словах с гласным заднего ряда (97—стр. 59 и 63). Этот же формант *-ы (-и)* является аффиксом родительного (также винительного) падежа у имен с притяжательным аффиксом 1-го и 2-го лица в северокавказских тюркских языках, например, в карачаево-балкарском (11—стр. 87—88).

Советский монголист Г. Д. Санжеев, являющийся одним из противников алтайской гипотезы, перечисляя случаи отсутствия (?) морфологических соответствий в тюркских и монгольских языках (84—стр. 88), почему-то умалчивает о случаях, только что приведенных нами, не говоря уже о наличии формы родительного падежа на *-ын (-н)* в монгольских, марийских, мордовских, во многих тюркских и прибалтийско-финских языках.

Несмотря на то, что в наше время сторонников урало-алтайской гипотезы стало меньше, а число ее противников увеличилось и к ним присоединились более молодые ученые, которые в отличие от старого поколения ее противников высказываются против этой гипотезы более резко и смело, все же исследования по урало-алтайским языкам ведутся как в Советском Союзе, так и за рубежом. Это вполне понятно, так как противники урало-алтайской гипотезы, ссылающиеся в качестве главного аргумента для ее отрицания на отсутствие большого количества лексических соответствий, не могли убедить сторонников этой гипотезы, чтобы они отказались от своих прежних взглядов.

§ 8. О НОВЫХ РАБОТАХ ПО УРАЛО-АЛТАИСТИКЕ

Перечень литературы, посвященной разным аспектам урало-алтайских языков, приводится в разделе «Библиография» в конце книги. Здесь будет дан краткий обзор лишь важнейших работ по урало-алтаистике, опубликованных за последние 20 — 25 лет как в Советском Союзе, так и за рубежом.

В советском языкознании урало-алтаистика как проблема долгое время не поднималась по разным причинам. В качестве оправдания можно было бы сослаться на засилье марризма. Но это вряд ли является главной причиной. Дело в том, что советские языковеды в течение 50 лет языкового строительства занимались больше теми задачами, решения которых неотложно требовала сама жизнь. Эти задачи заключались в следующем: создание письменности для ранее бес письменных урало-алтайских языков, упорядочение алфавитов и орфографий, создание школьных и вузовских учебников, описательных, научных и исторических грамматик, составление двуязычных толковых и орфографических словарей, изучение и описание диалектов и ранее неизвестных языков, отбрасывавшихся к урало-алтайской семье, подготовка кадров в вузах и через широкую сеть аспирантуры и докторантуры вузов и академий наук и т. д.

Без выполнения этих задач невозможно было бы поднять культуру народов, говорящих в Советском Союзе на разных языках урало-алтайской семьи. В этом отношении советскими языковедами сделана поистине титаническая работа.

Проблема советской урало-алтаистики начата сравнительно недавно. Помимо выпущенных в 1965—1967 годах автором данной книги нескольких статей, посвященных главным образом вопросам сравнительной грамматики (морфологии) урало-алтайских языков и являющихся первым опытом изучения грамматического строя названных языков, в 1967 году известный советский японист Н. А. Сыромятников опубликовал большую статью под названием «Об урало-алтайском слое древнеяпонского языка». Автор, правда, не ставит своей целью доказать или

отрицать древнее родство урало-алтайских языков между собой или их родство с японским. Однако упомянутая статья представляет научный интерес для советской урало-алтаистики в том отношении, что ее автор в японском языке обнаруживает ряд лексических элементов (слов), общих с урало-алтайскими языками, в частности, с некоторыми тунгусо-маньчжурскими, монгольскими, тюркскими и финно-угорскими; ср. например, (русскими буквами) япон. *кугуру* 'проходить нагнувшись', *кугуму* 'нагибаться' и удм. *кокрырес* 'согнутый, изогнутый'; япон. *ката* 'твердый', эвенк. *катан*, маньч. *хатань*, бурят. *хатту*, турец. *каты* 'твердый'; япон. *таке* 'гора', диал. *даке* 'цепь гор', тюрк. *тағ* 'гора' и т. д. (92—стр. 118—122).

Далее автор попутно говорит также о нерегулярном перебое гласного звука *и*, его переходе в звук *а* в японском и некоторых алтайских языках.

Одним из убежденных урало-алтаистов в наше время является известный финский ученый М. Рясянен, который занимается в основном исследованием лексики и фонетики урало-алтайских языков. Свои первые наблюдения над лексикой этих языков он опубликовал на финском языке (1947—1948 гг.) в двух работах, где он приводит 180 лексических соответствий, общих для всех урало-алтайских языков (80—стр. 22). Впоследствии он опубликовал еще несколько работ также по лексике под общим названием «Исследование по урало-алтайской лексике» на немецком языке («Uralaltaische Wortforschung»); в одной из них рассматривается специальная лексика, относящаяся к обработке кожи у урало-алтайских народов («Über die Lederbearbeitung der uralaltaischen Völker»). Эта статья М. Рясянена представляет некоторый интерес для исследователей урало-алтайской лексики в том отношении, что в терминах обработки кожи и в названиях некоторых диких лесных животных (лось, олень и т. д.) у северных урало-алтайских народов автор обнаруживает интересные совпадения; ср. например фин *tuokata* 'обработать' и тунгус. *тоңга* 'обработать кожу', или фин. *peura* 'северный олень' и якут., карагас. *buur* 'северный олень-самец' (146—стр. 167—168).

В 1965 году М. Рясянен опубликовал свой доклад на тему «О родстве урало-алтайских языков» (146), сделанный им еще в 1963 году на одном из заседаний Финской Акаде-

мии наук¹. В этом докладе автор дает небольшой обзор литературы по урало-алтайским языкам и свои положения иллюстрирует некоторыми примерами, взятыми как из своих прежних работ, так и из исследований других ученых. В целом этот доклад М. Рясянена носит в какой-то степени научно-популярный характер.

Свои взгляды, относящиеся к проблеме урало-алтайских языков, М. Рясянен изложил также во вводной части исследования «Материалы по исторической фонетике тюркских языков» (80). В этой книге, которая в русском переводе вышла в 1955 году, даны краткие сведения о точке зрения крупнейших ученых по проблеме родства уральских и алтайских языков. Автор сделал также попытку сконструировать фонетическую прасистему урало-алтайских языков по некоторым согласным звукам.

Что касается фонетической прасистемы алтайских языков, то М. Рясянен, основываясь на исследованиях своих предшественников, в частности своего учителя Г. И. Рамстедта, воссоздал звуковую систему алтайского праязыка (т. е. языка-основы) и показал соответствия и изменения гласных и согласных звуков в разных позициях слова в тюркской, монгольской и тунгусской группах, а также в корейском языке (80 — стр. 23 — 28).

Упомянутое исследование М. Рясянена, хотя и названо им «Материалы по исторической фонетике тюркских языков», имеет научный интерес не только для тюркологов, но и для урало-алтаистов.

Другой крупной работой, посвященной проблеме родства урало-алтайских языков и вышедшей за последнее десятилетие, является исследование видного венгерского ученого Д. Фокош-Фукса «Роль синтаксиса в установлении языкового родства» с подзаголовком «С учетом родства урало-алтайских языков» (132).

На эту работу имеются две известные нам рецензии, написанные немецкими учеными В. Шлахтером и Г. Дерфером, которые в своих рецензиях высоко оценивают упомянутый труд Д. Фокош-Фукса и единодушно высказы-

¹ Примечание редактора: Этот доклад, хранящийся в протоколах Финской Академии наук, опубликован на русском языке в ж. «Вопросы языкознания», 1968 г., № 1, стр. 43—49. Дж. Г. Кнекбаев, как мне известно, хотел включить эту статью в обзор и библиографию, но, к сожалению, не успел. (М. З.)

ваются о том, что это исследование представляет собой фундаментальный вклад в урало-алтаистику и должно быть настольной книгой каждого уралиста и алтаиста, а также всех будущих исследователей в области сравнительного изучения урало-алтайских языков. Что касается синтаксических соответствий в урало-алтайских языках, на чем построено в основном упомянутое исследование, то оба рецензента пришли к следующему единодушному заключению: синтаксические соответствия являются результатом типологического сходства, а не генетического родства урало-алтайских языков (150— стр. 174; 130— стр. 178).

В своем обширном исследовании Д. Фокош-Фукс сделал подробный обзор всей существовавшей со времени возникновения урало-алтайской гипотезы богатой литературы, написанной несколькими поколениями ученых, которые занимались проблемами отдельно уральских и алтайских языков или исследованием всех урало-алтайских языков вместе. Автор детально излагает взгляды этих ученых и полемизирует с ними, возражая им, где это нужно, или соглашаясь с ними. В этом отношении исследование Д. Фокош-Фука по праву является крупным вкладом в современную урало-алтаистику и должно стать настольной книгой всех исследователей урало-алтайских языков. Поэтому положительная часть рецензий В. Шлахтера и Г. Дерфера не вызывает особых возражений. Но если учесть характер исследования Д. Фокош-Фука, стремящегося доказать родство урало-алтайских языков на основе одних лишь лежащих на плоскости языка синтаксических соответствий, которые, по его мнению, являются основной доказательной силой (*Beweiskraft*) родства названных языков, то на первый взгляд создается такое впечатление, что его рецензенты, делающие вывод о том, что эти синтаксические соответствия являются результатом типологического сходства, а не генетического родства урало-алтайских языков, как будто бы поступают справедливо.

В своем исследовании Д. Фокош-Фукс высказал интересные мысли и о типологическом сходстве языков, сравнивая его с генетическим родством. По его мнению, установление наличия определенного типологического или структурного сходства языков не является второстепенным; типологическое сходство является симптомом и необходимым сопутствующим фактором генетического род-

ства языков вообще, т. е. предварительным условием, которое дает основание исследовать возможное генетическое родство (132— стр. 44). Как явствует из приведенной выдержки, для Д. Фокош-Фукса отправным пунктом остается все же типологическое сходство, от которого он переходит к исследованию вопроса о генетическом родстве урало-алтайских языков. Однако между типологическим сходством и генетическим родством автор не проводит отчетливой грани.

Правда, Д. Фокош-Фукс оговаривается, что не все синтаксические соответствия могут служить доказательной силой родства языков. По его мнению, они следующие:

а) большое количество синтаксических соответствий встречается даже в тех языках, которые вовсе не являются родственными между собой; это те соответствия, которые возникли вследствие однородности образа человеческого мышления, и они должны рассматриваться как общезыко-вое явление. Следовательно, они не могут быть доказательством родства языков;

б) случайные синтаксические соответствия;

в) синтаксические соответствия могут возникнуть также и вследствие влияния языка другой системы. Это заимствованные синтаксические конструкции, которые также не могут служить доказательной силой родства языков;

г) в языке часто наблюдаются инновации (т. е. новообразования) и изменения синтаксических конструкций; такие соответствия могут образоваться различными путями; они не являются древним наследием языка, а поэтому не могут указывать на генетическое родство языков;

д) единичные синтаксические соответствия могут возникнуть вследствие типологического (или структурного) сходства; они также не свидетельствуют о генетическом родстве между языками.

Далее Д. Фокош-Фукс со ссылкой на Ю. Немета, Б. Коллиндера и других ученых высказал свои критические замечания о том, что вышедшие до сих пор исследования по синтаксису урало-алтайских языков большей частью были недостаточно глубокими или в методическом отношении неудовлетворительными; поэтому от результатов этих исследований нужно отказаться или в крайнем случае нужно использовать их с оговоркой и относиться к ним критически (132— стр. 47—48). При этом автор, очевидно, имеет в виду работу Вильмоша Преле «Очерки по сравнительному

синтаксису урало-алтайских языков с учетом синтаксиса японского языка» (142).

К этой работе Д. Фокош-Фукс относится весьма скептически и говорит, что в ней рассматривается незначительное количество синтаксических соответствий (132—стр. 119, сноска).

Одновременно Д. Фокош-Фукс перечисляет также и те критерии, которые в установлении генетического родства между языками являются решающими. По его мнению, эти критерии следующие:

1. Серийные синтаксические соответствия, в частности: а) те соответствия, которые, с точки зрения истории языка, унаследованы от древних эпох развития языка, т. е. те, которые не являются заимствованиями; б) те, которые в данных языках считаются общими и входят в замкнутую систему языка, а в других языках встречаются лишь спорадически; в) те, которые не связаны с однородностью образа человеческого мышления и поэтому их невозможно отнести к общезыковым явлениям; г) те синтаксические соответствия, которые нельзя рассматривать как более позднее языковое явление.

2. Кроме перечисленных видов синтаксических соответствий, решающими в установлении генетического родства языков являются также древние фонетические, лексические и морфологические соответствия (132—стр. 50—51).

В соответствии с приведенными критериями Д. Фокош-Фукс во второй главе своего фундаментального исследования (стр. 53—116) в качестве доказательства генетического родства урало-алтайских языков приводит огромное количество примеров на синтаксические соответствия, почерпнутые им как из старых, так и из новейших исследований советских и зарубежных ученых, занимающихся вопросами отдельно финно-угорских, самодийских, тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, и эти примеры сопровождаются соответствующими комментариями. В этом отношении Д. Фокош-Фуксом, являющимся одним из лучших знатоков названных языков, сделана очень большая и трудоемкая работа.

Однако приведенные автором синтаксические соответствия в качестве иллюстрации сами толкают на мысль о том, что эти соответствия являются результатом типологического сходства урало-алтайских языков, так как, во-

первых, все приведенные автором синтаксические соответствия лежат на плоскости языка, и почти отсутствует диахронический план, т. е. применение сравнительно-исторического метода к анализу этих синтаксических соответствий хотя бы в его первоначальном виде. Поэтому трудно установить, какие из приведенных синтаксических соответствий, с точки зрения истории языка, являются древними и относятся к урало-алтайскому наследию, а какие — новыми, заимствованными или случайными. Во-вторых, поскольку в исследовании почти отсутствует диахронический план, то приведенное автором в качестве иллюстрации бесчисленное количество синтаксических соответствий из всех урало-алтайских языков вылилось в простое сопоставление языковых фактов. В-третьих, на современном этапе развития языкознания, когда направление типологического исследования разносистемных языков как за рубежом, так и в Советском Союзе взяло верх над сравнительно-историческим методом, являющимся, на наш взгляд, единственным методом исследования для установления родства между языками, вряд ли можно убедить кого-либо в том, что языки, имеющие синтаксические соответствия, являются родственными между собой. И, наконец, в-четвертых, о морфологических соответствиях автор говорит только вскользь и никаких примеров не приводит.

Приведенные автором синтаксические соответствия могли служить более убедительным доказательством древнего родства урало-алтайских языков, если бы они были подкреплены морфологическими соответствиями и эти два аспекта языка, представляющие собой единое целое, не рассматривались бы изолированно друг от друга.

Как уже говорилось, Ф. Видеман в числе других общих сходных признаков, характеризующих урало-алтайские языки (или «чуждые и центрально-азиатские», как он их называл) отмечал, что в сравнительных оборотах употребляется исходно-отдалительный падеж, т. е. *ablativus comparationis* (152— стр. 7—8). С точки зрения сравнительно-исторической грамматики происхождение формы исходно-отдалительного падежа в урало-алтайских языках, как и происхождение других грамматических форм, представляет собой большой интерес.

Г. И. Рамstedт и М. Ряснен возводят аффикс исходного падежа в тюркских языках к самостоятельному тюркскому слову *йан* 'сторона' или корейскому слову *тан*

‘край, рант’ (75— стр. 43; 145— стр. 62). Такую этимологию аффикса исходного падежа в тюркских языках следует считать неудовлетворительной. Но происхождение аффикса исходного падежа *-дук* в тунгусских языках Г. И. Рамstedт связывает с аффиксом местного падежа *-ду*, что, разумеется, соответствует действительности; ср. его примеры (рус. буквами): тунг. *ламу* ‘море’, *ламу-ду* ‘на море, в море’ (где?) и далее: *ламу-дук* ‘от моря’ (75— стр. 44).

В этой связи заметим, что не только в тунгусо-маньчжурских, но и в других урало-алтайских языках, в частности, в финно-угорских, самодийских и тюркских, основой для образования формы исходного падежа служила форма местного или направительного падежа (41— стр. 181—183), что, в свою очередь, свидетельствует о единстве структурной модели образования и развития формы этого падежа в упомянутых языках. Следовательно, форма местного и направительного падежей является более древней, чем форма исходно-отдалительного падежа.

Если по общему признанию в сравнительных конструкциях урало-алтайских языков употребляется исходно-отдалительный падеж, образовавшийся в свою очередь от более древнего местного или направительного падежа, то по простой логике надо думать, что в сравнительных конструкциях некогда могла употребляться и форма местного или направительного падежа, так как люди, говорящие на урало-алтайских языках, надо полагать, сравнивали явления и предметы и до образования исходно-отдалительного падежа в своих языках.

Употребление направительного или местного падежа в оборотах сравнения, наряду с формой исходного падежа, широко представлено в тюркских языках; ср. например, новоуйгур. *Савутка кариганда Давут чоңрак*, дословно: ‘Если смотреть на Савута и Давута, то Савут сильнее Давута’, якут. *Эһэ бөрөгө тэңнэтэххэ куустээх* ‘медведь сильнее волка’, дословно: ‘Если сравнить медведя и волка, то медведь сильнее волка’, или башк. *Атаһы улына караганда кәсләрәк* ‘Отец (его) сильнее своего сына’, дословно: ‘Если смотреть на отца и сына, то отец сильнее сына’.

В приведенных примерах слово *Савут-ка* (уйгур.) стоит в направительном падеже; в якутском языке падеж на *-га/-гэ* (*бөрө-гэ*) имеет как местное, так и направительное значение. В башкирском языке слово *улы-на* ‘на сво-

его сына, своему сыну' тоже стоит в направительном падеже, от которого путем наращивания форманта *-н* образуется форма исходного падежа, например, *улы-на-н* 'от своего сына'. При этом, когда форма исходного падежа типа *улынан* употребляется в оборотах сравнения, слово *караганда* 'если смотреть' отбрасывается, например, *Атаһы улынан көслөрөк*, дословно: 'Отец от сына сильнее'. В других тюркских языках мы наблюдаем аналогичную картину: когда в оборотах сравнения употребляется форма исходного падежа, образовавшаяся от формы более древнего местного или направительного падежа, служебное слово *караганда* 'если смотреть' или якут. *тэңнэтэххэ* 'если сравнить' отбрасывается. Это свидетельствует в свою очередь о том, что обороты сравнения с исходным падежом являются более абстрактными, а с местным или направительным падежом в сочетании со служебными словами — более конкретными, на что указывают сами служебные слова, при помощи которых сравниваются предметы и явления путем непосредственного противопоставления этих предметов друг другу. Следовательно, обороты сравнения с местным и направительным падежом при участии служебных слов являются более древними, ибо употребление служебных слов в оборотах сравнения связано с более конкретной и, следовательно, более древней формой человеческого мышления.

Приведенные выше факты не оставляют сомнения в том, что до образования формы исходно-отдалительного падежа в оборотах сравнения употреблялась (например, в тюркских языках) форма местного или направительного падежа, являющаяся более древней, чем форма исходного падежа.

§ 9. О ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ СХОДНЫХ ЧЕРТАХ УРАЛО-АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Сходные черты урало-алтайских языков, указывающие на их древнее родство, не ограничиваются теми, которые приводят Ф. Видеманом, Б. Мункачи, Г. И. Рамstedтом и другими учеными. На основе системного подхода к фактам названных языков как в синхронном, так и в диахроническом плане в свете теории определенности и неопределенности, о сущности которой будет сказано ниже, нами выявлен еще ряд сходных признаков, харак-

теризующих большинство урало-алтайских языков. При этом следует оговориться, что некоторые сходные черты в том или другом языке или подгруппе языков урало-алтайской семьи могут отсутствовать или могут быть затемненными.

По сложившейся традиции мы позволим себе перечислить эти вновь выявленные сходные черты, отличающие урало-алтайские языки от индоевропейских. Они относятся в основном к морфологии и сводятся к следующим:

1. Притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа выполняет функцию определенного артикля, выделяя один определенный предмет среди других ему подобных.

2. Притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа служит средством синтаксической связи в определенных группах имен.

3. Притяжательные аффиксы всех лиц указывают на определенность предмета, благодаря чему имена с притяжательными аффиксами могут стоять только в винительном определенном падеже или же личный переходный глагол принимает форму только объектного (определенного) спряжения.

4. Притяжательные аффиксы единственного числа являются особенно устойчивыми в терминах близкого родства.

5. Наличие двух винительных падежей — винительного определенного и винительного неопределенного.

6. Интонационное единство управляющего переходного глагола с именем в винительном неопределенном падеже и нарушение этого интонационного единства в тех случаях, когда прямое дополнение стоит в винительном определенном падеже.

7. Невозможность постановки прямого дополнения в винительном неопределенном падеже в тех случаях, когда прямое дополнение отдалено от управляющего переходного глагола.

8. Совпадение условий употребления винительного определенного падежа в большинстве урало-алтайских языков с условиями употребления объектного (определенного) спряжения глаголов в угорских языках.

9. Выступление притяжательного аффикса 3-го лица единственного числа в функции аффикса винительного определенного падежа и аффикса объектного (определенного) спряжения переходных глаголов.

10. Наличие двух родительных или принадлежностных падежей — родительного определенного и родительного неопределенного.

11. Интонационное единство определяющего имени в родительном неопределенном падеже с определяемым и нарушение этого интонационного единства в тех случаях, когда определение стоит в родительном определенном падеже.

12. Невозможность постановки определяющего существительного в родительном неопределенном падеже в тех случаях, когда это определение отдалено от своего определяемого имени, т. е. когда между определением и определяемым стоят другие члены предложения.

13. Происхождение форм родительного определенного и винительного определенного падежей от одного источника (благодаря этому в прибалтийско-финских, мордовских, северокавказско-тюркских языках и узбекских диалектах функцию этих двух падежей выполняет один падеж).

14. Происхождение формы исходно-отдалительного падежа от местного или направительного падежа.

15. Наличие лишительного падежа (абессива) и лишительного прилагательного и генетическая связь формы этого падежа с притяжательной формой 3-го лица (в западных урало-алтайских языках).

16. Наличие двух видов множественного числа — индивидуальное множество и коллективное множество.

17. Передача идеи множественности формой единственного числа (неопределенное или обобщенное множество) или при помощи заднерядных и широких гласных звуков, например, в личных местоимениях.

18. Образование сложных аффиксов, состоящих из двух и более элементов, путем нарастания одного форманта на другой.

19. Наличие морфологической категории сказуемости и переплетение формы сказуемости с притяжательной формой.

20. Образование некоторых простых количественных числительных при помощи показателей множественности и двойственности.

21. Образование порядковых числительных при помощи или при участии притяжательного аффикса 3-го лица, а разделительных числительных — при помощи показателей множественного числа.

22. Генетическая связь личного местоимения 3-го лица с указательным местоимением.

23. Появление форманта *-н* в косвенных падежах личных местоимений в качестве основообразующего элемента и присоединение форманта *-н* к основе личных местоимений единственного числа в ряде урало-алтайских языков.

24. Неустойчивость гласного у личных местоимений единственного числа в некоторых косвенных падежах.

25. Наличие прошедшего определенного и прошедшего неопределенного (очевидного и неочевидного) времени глаголов изъявительного наклонения или объектного и безобъектного (определенного и неопределенного) спряжения глаголов и генетическая связь формы прошедшего определенного (очевидного) времени с формой определенного (объектного) спряжения глаголов.

26. Генетическая связь форм прошедшего очевидного времени и объектного спряжения глаголов с притяжательным аффиксом 3-го лица.

27. Генетическая связь аффикса повелительной формы 3-го лица с притяжательным аффиксом 3-го лица единственного числа.

28. Наличие производных прилагательных со значением «имеющий то-то, обладающий тем-то».

29. Наличие сингармонических параллелизмов с дифференцированным лексическим значением.

Кроме перечисленных сходных черт, характеризующих урало-алтайские языки, можно было бы указать еще на ряд признаков, не являющихся общими для подавляющего большинства названных языков, а свойственных лишь отдельным их группам, в частности, наличие форм включающего и исключającego множественное число (инклюзива и эксклюзива) в тунгусо-маньчжурских и частично в монгольских языках; наличие парных (двойных) личных местоимений в чувашском, марийских и прибалтийско-финских языках, в которых полная форма личных местоимений употребляется при наличии логического ударения на местоимении, а краткая форма — при отсутствии логического ударения; наличие частичного падежа (партитива) в прибалтийско-финских, тунгусо-маньчжурских и якутском языках и т. д. и т. п.

Приведенные сходные черты в морфологии, обнаруженные путем системного подхода к сравнительно-исторической грамматике урало-алтайских языков, могли бы

служить, на наш взгляд, наиболее веским аргументом для доказательства древнего родства названных языков. Они, разумеется, нуждаются в комментариях и сравнениях языковых фактов, которые даются ниже.

В этой связи вряд ли будет верным утверждение венгерского ученого Ю. Немета о том, что в морфологии урало-алтайских языков имеются некоторые соответствия; однако они не имеют решающей доказательной силы, поскольку они носят спорадический и несистематический характер (66—стр. 127).

В советской лингвистической литературе на сходные черты уральских (финно-угорских и самодийских) языков указывала также К. Е. Майтинская (52—стр. 15—19). Большинство перечисленных ею сходных черт уральских языков являются общими также и для других урало-алтайских.

§ 10. О ГИПОТЕЗЕ РОДСТВА УРАЛЬСКИХ И ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Гипотеза о родстве между уральскими и индоевропейскими (или индогерманскими) языками возникла в конце XIX века. Первым ученым, который выдвинул эту гипотезу, был профессор бывшего Дерптского (ныне Тартуского) университета Г. Андерсон, посвятивший этому вопросу свое исследование под названием «*Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen und indogermanischen Sprachen*» («Сравнительное изучение финно-угорских и индогерманских языков», Дерпт, 1879). Однако сам Г. Андерсон сомневался в правомерности своей гипотезы и допускал двойное толкование этого вопроса, говоря, что соответствия между индоевропейскими и финно-угорскими языками могли возникнуть на основании заимствования или строиться на случайных явлениях (115—стр. 333).

Вслед за Г. Андерсоном в пользу гипотезы о родстве финно-угорских и индоевропейских языков выступил английский ученый Г. Свит, который, сопоставив в книге «История языка» (1900) большое количество лексических и грамматических соответствий в финно-угорских и индоевропейских языках, генетическое родство между финно-угорскими и индоевропейскими языками считал даже окончательно доказанным (126—стр. 229).

В первой четверти нашего столетия к урало-индоевропейской гипотезе ученые относились по-разному. Так, шведские ученые К. Б. Викаунд и Х. Скельд в своих исследованиях поддерживали эту гипотезу. Г. Хирт и Х. Пасонен относились к ней скептически. Индогерманист Й. Шмидт отвергал эту гипотезу и выступал против точки зрения К. Б. Викаунда и других сторонников урало-индоевропейской теории, за которую высказывались главным образом исследователи финно-угорских языков.

В наше время гипотезу о родстве между уральскими и индоевропейскими языками защищает шведский финно-угрист Б. Коллиндер, написавший по этому вопросу ряд работ, среди которых заслуживает особого внимания его исследование под названием «Indo-uralisches Sprachgut» («Индо-уральский языковой фонд», 1934). В этой работе Б. Коллиндер сделал попытку доказать родство между уральскими и индогерманскими языками на примере ряда лексических соответствий и свыше десяти местоименных корней, а также нескольких морфологических соответствий, среди которых около 15 словообразовательных суффиксов и три падежных окончания (126— стр. 229).

Б. Коллиндер и теперь остался на своих прежних позициях. Так, на Международном конгрессе финно-угристов, состоявшемся в августе 1966 года в Хельсинки, он выступил с обширным докладом в защиту своей прежней точки зрения по данному вопросу и пытался опровергнуть возражения против теории родственных связей уральских (финно-угорских) и индоевропейских языков. Эти возражения основываются на том, что у языков этих групп слишком мало общих слов, а установленные звуковые соответствия недостаточно закономерны (СФУВ № 1, 1966, стр. 72). Кроме соответствий ряда словообразовательных суффиксов в уральских и индоевропейских языках, Б. Коллиндер обнаружил следующие морфологические соответствия: наличие аккузатива на *-m*, аблатива на *-m (-t)*, притяжательного склонения на *-n*, прошедшего времени на *-c (-s)*.

Ссылаясь на эти случайные соответствия, приведенные Б. Коллиндером в качестве доказательной силы родства уральских и индоевропейских языков, некоторые советские финно-угристы, в частности В. Халлап и Ю. Тедре (Эстония), поддерживают точку зрения Б. Коллиндера и считают его гипотезу родства названных групп языков

более убедительной, чем доводы противников этой гипотезы (СФУВ № 1, 1966, стр. 72).

Гипотезу родства уральских и индоевропейских языков с некоторой осторожностью поддерживают также советские ученые К. Е. Майтинская и В. И. Лыткин, считая, что совпадение свыше десяти финно-угорских (уральских) и индоевропейских местоименных корней едва ли является случайным. При этом они ссылаются также на видного финского ученого (финно-угриста) Э. Итконена, опубликовавшего в 1962 году свое исследование «Die Laut und Formenstruktur der finnisch-ugrischen Grundsprache» («Фонетический и морфологический строй финно-угорского языка-основы»), в котором Э. Итконен высказался в пользу генетического родства индоевропейских и финно-угорских языков (СФУВ № 3, 1965, стр. 233).

В наше время одним из противников гипотезы родства уральских и индоевропейских языков является венгерский языковед Д. Дечи, который, как уже говорилось, отрицательно относится также и к теории о родстве урало-алтайских языков, в том числе и к родству алтайских языков между собой. Следовательно, по мнению Д. Дечи, уральские (финно-угорские и самодийские) языки не имеют никаких родственных связей с другими языками.

Что касается отрицания генетического родства уральских и индоевропейских языков, то доводы Д. Дечи по данному вопросу следует считать вполне аргументированными. По его мнению, приведенные сторонниками урало-индоевропейской гипотезы лексические и морфологические соответствия в этих языках являются случайными совпадениями; уральские и индоевропейские языки невозможно свести к общему языку-основе, так как этот язык-основа не поддается реконструкции и т. д. Все это говорит против родства уральских и индоевропейских языков (126—стр. 230).

В связи с урало-индоевропейской теорией следует сказать следующее:

1. Идея обоснования большой или глобальной семьи родственных языков является сама по себе не новой. Гипотезу родства индоевропейских, семито-хамитских, уральских, алтайских, шумерских и некоторых других языков между собой выдвигал еще в начале нашего столетия Х. Педерсен (28—стр. 52). В свою очередь, гипотеза родства отдельно индоевропейско-семитских, шумерско-индоевро-

нейских, шумерско-картвельских, урало-чукотских языков выдвигалась также и многими другими учеными.

В настоящее время идею Х. Педерсена поддерживает советский ученый А. Б. Долгопольский, посвятивший этому вопросу большую статью под названием «Гипотезы древнего родства языковых семей Евразии с вероятностной точки зрения» (ж. «Вопросы языкознания», 1964, № 2, стр. 52—63). В этой статье сравнивается семь языковых семей (индоевропейская, семито-хамитская, уральская, алтайская, чукотско-камчатская, картвельская) и шумерский язык, которые А. Б. Долгопольский объединяет в одну общую группу «сибироевропейских языков». Автор сопоставляет некоторые случайно совпавшие названия частей тела, числительные, местоимения и отдельные слова, почерпнутые им из названных языковых семей. На основании арифметического подсчета совпавших элементов и установления их соотношения в той или другой семье упомянутых языков автор пишет: «Таким образом, совпадения между сибироевропейскими языками нельзя объяснить ни случайностью, ни заимствованием. Единственно возможное объяснение — существование генетического родства между семьями сибироевропейских языков». При этом автор оговаривается, что родство возможно хотя бы между некоторыми семьями, если не всеми.

В конце статьи А. Б. Долгопольский приходит к следующему выводу: «Таким образом, мы можем с большей достоверностью говорить о родстве между индоевропейскими, семито-хамитскими, уральскими, алтайскими, чукотско-камчатскими и картвельскими языками, но с меньшей достоверностью — о родстве шумерского языка с указанными языками» (28—стр. 63).

Касаясь стремления некоторых ученых установить родство индоевропейских или индогерманских языков с шумерским, семитскими, финно-угорскими и другими, Д. Де-чи замечает, что подобные стремления со стороны индогерманистики восприняты крайне неодобрительно, а гипотезу родства уральских и индоевропейских языков он справедливо считает нереальной, утопической (126—стр. 228), не говоря уже о родстве между индоевропейскими и шумерским, семитскими, хамитскими и другими.

То же самое следует сказать и о сибироевропейской гипотезе: попытка установить родство индоевропейских языков с уральскими, картвельскими, чукотскими, камчат-

скими, хамитскими и другими является неправомерной и нереальной. Эти языки невозможно возводить к общему или единому языку-основе; эпоха существования этого языка-основы является недостижимой, ибо такой глобальный язык-основа никогда не существовал. Исключение здесь может составлять только родство между уральскими и алтайскими языками.

2. Гипотеза родства уральских, а также и семитских, хамитских, шумерского и некоторых других языков именно с индоевропейскими, а не с другими языками, по-видимому, связана со стремлением некоторых ученых связать эти языки с языками народов, более развитых в культурно-экономическом отношении, и тем самым как-то отмежевать их от языков ранее отсталых в культурно-экономическом отношении народов, какими были до первой четверти нашего столетия, например, алтайские народы. На это указывает, между прочим, следующий факт: в XIX веке такая тенденция была очень сильной в Венгрии. По сведениям К. Е. Майтинской, некоторые круги венгерской интеллигенции крайне неодобрительно и даже враждебно относились к тем ученым, которые доказывали, что венгры находятся в родственных связях с такими народами, как лопари, манси и ханты; венгерских ученых, признававших финно-угорское родство, считали плохими патриотами. Нашлись также «теоретики», старавшиеся доказать, что венгерский народ, имеющий столь героическое прошлое, не может быть в родственной связи с народами, состоящими из мирных рыболовов и охотников (53—стр. 11).

Приведенный факт свидетельствует о том, что в старой Венгрии тенденция к отмежеванию от народов, отсталых в культурно-экономическом отношении, проявилась более сильно и открыто. Кстати, заметим, что отрицание родства урало-алтайских языков некоторыми зарубежными учеными, очевидно, тоже связано с такой тенденцией, но в более завуалированной форме.

В связи с этим следует сказать, что культурно-экономическая отсталость многих урало-алтайских народов в прошлом ничего общего не имеет с неразвитостью грамматического строя их языков. Здесь, разумеется, речь идет не о развитости или неразвитости словарного состава языков. Грамматический строй языков и уровень их развития одинаков или почти одинаков в целом у всех языков

независимо от уровня культурно-экономического развития их носителей. Так, например, абсолютное и относительное употребление глагольных времен в тюркских и некоторых других урало-алтайских языках так же широко представлено, как и во многих западноевропейских языках, в частности в английском. То же самое следует сказать и о грамматической категории определенности и неопределенности, которая в урало-алтайских языках выражается в разнообразных формах и нюансах и т. д. и т. п.

§ 11. О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

По общему признанию, структурная лингвистика, или структурализм, представляет собой новую ступень в развитии мирового языкознания. Структурное направление в языкознании окончательно оформилось в конце 20-х годов нашего столетия в Чехословакии («Пражский лингвистический кружок») как резкая оппозиция по отношению к концепциям младограмматической школы, возникшей в конце прошлого века, в свою очередь, как оппозиция по отношению к классическому сравнительно-историческому языкознанию XIX века.

Таким образом, одной из причин возникновения структурного направления в языкознании явилась неудовлетворенность исследователей, занимающихся теоретическими и философскими вопросами языка, методами младограмматической школы, рассматривающей языковые явления раздельно или изолированно друг от друга (так называемый атомистический метод, или атомизм).

Структурная лингвистика зародилась не на голом месте: основоположники структурной лингвистики, в частности представители пражского лингвистического кружка, опирались на теоретические концепции швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра. В своих трудах по общему языкознанию Ф. де Соссюр рассматривал язык с синхронной точки зрения и высказал мысль о том, что установить системность существующих в языке элементов можно только с синхронной точки зрения. В 80-х годах

прошлого столетия, еще задолго до Ф. де Соссюра, мысль о необходимости синхронного подхода к языку высказал также русский ученый Бодуэн де Куртене.

Структурная лингвистика, особенно пражская школа, представляет собой новое направление, которое строго учитывает функцию языка как средства выражения мысли. По этому вопросу в тезисах Пражского лингвистического кружка говорится, что к лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки зрения. С этой точки зрения язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели. Ни одно явление в языке не может быть понято без учета системы, к которой этот язык принадлежит. Лучший способ для познания сущности и характера языка — это синхронный анализ современных фактов (32— стр. 69).

Поскольку представители пражской школы структуралистов подходили к лингвистическому анализу с функциональной точки зрения, то это направление получило название «функциональная лингвистика».

Структурное направление в языкознании нашло широкое распространение во многих странах во второй четверти нашего века. Кроме пражской школы, выделяют еще следующие: копенгагенская школа структурной лингвистики, или глоссематическая лингвистика (от греческого «глосса» — язык); представителями этой школы являются Л. Ельмслев, Х. Ульдалль и другие.

Американскую школу структурной лингвистики называют дистрибутивной или дескриптивной лингвистикой (дистрибутивный означает «распределительный», а дескриптивный — «описательный»). Наиболее крупные представители этой школы — Л. Блумфилд, З. Харрис, Е. Найда, а в последнее время — Н. Хомский и другие.

Лондонская школа структуралистов представлена такими учеными, как Г. Суит, Д. Джоунз и другие. Каждая из этих школ структурной лингвистики имеет свои принципы, основанные на разных философских концепциях.

По общему признанию, глоссематическая теория Л. Ельмслева «складывалась под влиянием идей Ф. де Соссюра. Разграничение языка и речи, понимание языка как семиологической системы, которая по отношению к мышлению является лишь формой, а не субстанцией и элементы которой существуют только в силу их взаимосвязи, противопоставление синхронии и диахронии — все эти прин-

ципиальные положения, выдвинутые в свое время Ф. де Соссюром, получили в учении Л. Ельмслева дальнейшее, логически обоснованное, хотя и несколько одностороннее развитие» (76— стр. 22). Л. Ельмслев впервые в языкознании выдвинул тезис о возможности применения математических методов в лингвистике. По мнению многих лингвистов, «строго последовательная, законченная и формализованная система копенгагенской школы представляет собой одну из первых попыток построения аксиоматических теорий в области лингвистики и соединения лингвистических методов с методами математической логики» (65— стр. 176).

Американская дескриптивная лингвистика ставит своей целью разработать объективные приемы описания языка с учетом его уровней. При этом различаются три иерархических уровня языка: фонологический, морфологический, а в последнее время еще синтаксический (5— стр. 45). Американские структуралисты усиленно занимались поисками новых моделей и схем описания грамматики языка и в этом деле достигли сейчас значительных успехов. В этой связи заслуживают внимания исследования Н. Хомского. Способы, или модели описания, были разработаны американской школой применительно к языку американских индейцев.

Что касается лондонской школы структурной лингвистики, то эта школа считает, что основной задачей исследования языка является изучение значения. По мнению одного из основоположников лондонской школы Дж. Р. Ферста, изучение значения нужно для того, чтобы мы могли увидеть, как используем язык, чтобы жить (47— стр. 350). Таким образом, стремление к исследованию семасиологической стороны языка является, пожалуй, основным достоянием лондонской школы структурной лингвистики.

Общим и объединяющим звеном всех направлений структурной лингвистики, очевидно, следует считать подход к явлениям языка с точки зрения системности и структурности, чтобы полученные результаты анализа или исследования были объективными и истинными.

Однако следует оговориться, что подробно о концепциях каждой школы структурной лингвистики, о различиях и особенностях той или другой школы, разумеется, невозможно рассказать в двух-трех фразах. В настоящее время по структурной лингвистике имеется много литера-

туры как оригинальной, так и обзорной и разъяснительной. Однако обзор всей литературы не входит в задачу настоящей книги, хотя мы будем пользоваться основными положениями и методами структурной лингвистики при анализе грамматических явлений урало-алтайских языков.

В языкознании термин «структурная лингвистика» широко распространился после появления в 1939 году программной статьи видного датского ученого Виго Брендаля «Структурная лингвистика». В этой статье В. Брендаль, ссылаясь на ряд источников по естественным наукам, дал следующее определение термину «структура»: «Слово *структура* употребляется... для обозначения целого, состоящего, в противоположность простому сочетанию элементов, из взаимообусловленных явлений, из которых каждое зависит от других и может быть таковым только в связи с ними» (32—стр. 43). Более четкое определение этому термину дал другой датский ученый Луи Ельмслев, который считается основателем копенгагенской (глоссематической) школы структурной лингвистики. По его определению, термин «структура» обозначает не простой набор элементов, а целое, образованное взаимосвязанными элементами таким образом, что каждый зависит от других и может быть тем, чем он является, только благодаря отношениям с другими элементами... Отсюда следует, что свойства каждого элемента зависят от структуры целого и от законов, управляющих этим целым... Познание целого и его законов нельзя вывести из знания об отдельных частях, образующих это целое (105—стр. 12).

Такое определение структуры в сущности не противоречит высказываниям Ф. де Соссюра, который до появления термина «структура» пользовался термином «форма». Теория формы (или теория форм), по определению Л. Ельмслева, состоит в том, что явления рассматриваются не как простая сумма элементов, которые необходимо выделять, анализировать, разлагать, а как связанные совокупности, образующие автономные единицы, характеризующиеся внутренними зависимостями и имеющие собственные законы (105—стр. 11). Именно в таком смысле де Соссюр говорит о системах, где все элементы поддерживают друг друга (32—стр. 43). А системный подход к языковой действительности является одним из основных требований пражской школы структурной лингвистики.

Подчеркивая преимущество методов структурной лингвистики, в отличие от старых методов младограмматической школы, Л. Ельмслев писал, что «лишь благодаря структурному методу лингвистика, окончательно отказавшись от субъективизма и неточности, от интуитивных и глубоко личных заключений, оказывается способной, наконец, стать подлинной наукой. Только структурный метод в состоянии покончить с тем печальным положением, которое так хорошо охарактеризовал А. Мейе: «Каждый век обладал особой грамматикой философии... Существует столько же лингвистик, сколько лингвистов» (32— стр. 48).

Рассматривая язык как систему и признавая взаимосвязь и взаимообусловленность между отдельными элементами внутри системы, при которой каждый ее элемент зависит от других и не может существовать изолированно от них, структуралисты вплотную подошли (правда, стихийно) к методам диалектического материализма в языкознании. В этом, пожалуй, заключается их главная заслуга перед наукой о языке. Объективности ради это следует подчеркнуть и признать. На это их толкнуло бурное развитие других естественных наук в XX веке, о чем говорит В. Брендал в своей статье «Структурная лингвистика», опубликованной еще в 1939 году (32— стр. 43).

В этой связи уместно привести также и высказывание И. А. Бодуэна де Куртене, являющегося одним из родоначальников современной структурной лингвистики. Еще в 80-е годы прошлого века он писал, что «все в природе, а следовательно, и в языке «причинно», «естественно», «законно», «рационально». В языке нет никакого произвола» (16— стр. 12). В нашей языковедческой литературе эти слова, высказанные Бодуэном де Куртене почти сто лет назад, цитируют пока на правах крылатого слова или афоризма, мало вникая в их суть. В языке все причинно, естественно, законно, рационально потому, что язык представляет собой систему, сложившуюся естественным путем развития. Следовательно, в нашу задачу входит показать все это на примерах урало-алтайских языков, рассматривая грамматический строй (морфологию) этих языков с учетом их естественного пути развития и с точки зрения их собственной языковой действительности, а не с точки зрения других языков или, по меткому выражению Г. Д. Санжеева, без оглядки на другие языки (84— стр. 84). Кстати, попытка решить те или другие вопросы языка с огляд-

кой на другие языки собственно является одним из главных недостатков противников алтайской и урало-алтайской гипотезы, а также сторонников урало-индоевропейской теории и так называемого глобального родства языковых семей, о чем говорилось выше.

Современная структурная лингвистика является синхронной дисциплиной, т. е. дисциплиной, занимающейся исследованием современного состояния языка или языков. Однако, как справедливо отмечают представители пражской школы структурализма, методы структурной лингвистики могут быть применены также и к изучению истории языка путем так называемой внутренней реконструкции, поскольку при внутренней реконструкции система языка расслаивается на несколько систем, одна из которых рассматривается в качестве древнейшей, а остальные в качестве систем, возникающих как результат преобразований древнейшей системы (105— стр. 31).

Представители пражской школы структуралистов особенно подчеркивали применение методов структурной лингвистики в сравнительно-историческом исследовании родственных языков. По их мнению, сравнительный метод позволяет вскрыть законы структуры лингвистических систем и их эволюции, ... и структурный принцип анализа приводит языковедов к более реальному пониманию языковых реконструкций и дает возможность правильно оценить надежность результатов, полученных при исследованиях (32— стр. 70 и 108).

Относительно применений методов структурной лингвистики в сравнительно-историческом исследовании В. Н. Топоров пишет, что «вероятно, особенно удачная ситуация возникает при изучении ряда родственных языков, родившихся из одного исходного» (105 — стр. 33).

Л. Ельмслев, называя метод структурной лингвистики эмпирическим (т. е. основанным на опыте — Д. К.), подчеркивал, что «такого рода метод не способен привести к какой-либо метафизике. В соответствии с принципом простоты, который желателен в каждой науке, из всех возможных методов надо выбрать такой, который приводит к решению задачи путем наиболее простой процедуры» (32— стр. 47—48).

Но при применении такой наиболее простой процедуры или простого способа в структурном анализе языковых явлений «...необходим выход за пределы собственной

области данной теоретической науки и обращение к общим проблемам логики науки. Поэтому для современного развития структурной лингвистики чрезвычайно важна ее связь с логикой науки» (106 — стр. 34, ред.).

В этой связи возникает вопрос, как сочетать логику науки, выходящую за пределы данной области науки, с методом, который приводит к решению задачи путем простой процедуры, скажем, в свете системности языка, и как совместить эти понятия? Если эти понятия являются совместимыми, то как это будет выглядеть при структурном анализе морфологического строя урало-алтайских языков в сравнительно-историческом (диахроническом) плане и т. д.?

Точку соприкосновения всего этого, очевидно, следует искать в основных принципах математической логики, которые могут быть в какой-то степени применены и при сравнительно-историческом изучении родственных языков, если особенности системы этих языков позволяют это осуществить. Рассмотрим вкратце и этот вопрос.

§ 12. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЛИНГВИСТИКЕ В СВЕТЕ СИСТЕМНОСТИ ЯЗЫКА

Математические методы широко применяются теперь в лингвистике и проникают в другие науки как в естественные, так и в гуманитарные. В советском языкознании математические методы применительно к разным аспектам языка (в частности в моделировании и алгоритмировании при машинном переводе и т. д.) достаточно глубоко разработаны С. К. Шаумяном, И. И. Ревзиным, О. С. Кулагиной и другими учеными. Однако многие советские языковеды пока скептически относятся к использованию математических методов и приемов в своей практической деятельности и придерживаются осторожной точки зрения. Для этого есть некоторые основания, потому что, как отмечает Г. П. Мельников, лингвистические работы с полезными результатами, полученными математическими методами, бывают нередко изложены таким абстрактным, формальным языком, что хорошо понимать их не могут даже

ближайшие коллеги автора, а для широкого круга лингвистов эти работы вообще остаются недоступными (63— стр. 299). Это связано с тем, что, во-первых, некоторые языковеды, применяющие математические методы, слишком увлекаются математической символикой, т. е. стремятся выразить языковые явления математическими символами, формулами или цифрами, во-вторых, противники использования математических методов в языкознании считают, что математика — это наука о количественных (или упрощенно—цифровых) отношениях изучаемых объектов. Таким образом, некоторые лингвисты-математики в известной степени злоупотребляют методом математических наук, другие же недопонимают сущности математических методов и их основных принципов.

Как пишет Г. П. Мельников, «математика — это наука об отношениях между строго выявленными или заданными объектами. Но эти отношения совсем не обязательно должны быть количественными. Математика рассматривает и такие отношения, как отношение истинности—ложности, наличия — отсутствия, т. е. качественные отношения... В этих случаях часто говорят не о математике, а о логике» (63— стр. 301).

Как известно, структурная лингвистика, по определению ее сторонников, является эмпирической наукой, а не математической. Соответственно этому есть некоторая разница и между методами. По мнению С. К. Шаумяна, логической основой математических наук служит дедуктивный метод... Логической основой всех теоретических эмпирических наук, куда входит также и структурная лингвистика, является гипотетико-дедуктивный метод, представляющий собой метод построения и использования... дедуктивной системы гипотез (106— стр. 46—47). Далее С. К. Шаумян пишет: «Проблема проверяемости научных гипотез имеет фундаментальное значение в каждой теоретической науке и, в частности в структурной лингвистике... Всякая гипотеза выдвигается с целью объяснения и предсказания фактов и явлений, непосредственно устанавливаемых в опыте. Отсюда следует, что проверка гипотезы должна осуществляться путем вывода из нее следствий и сопоставления их с фактами и явлениями действительности... Весьма эффективным способом создания и проверки описаний каких-либо систем является построение действующих моделей этих систем» (106— стр. 58 и 60).

В структурной лингвистике ученые дают разные определения термину «модели» (речь идет о структурных моделях языка). Не останавливаясь на точке зрения других ученых о модели, мы берем за основу определение модели, данное С. К. Шаумяном. По его мнению, «...в математических науках теория и модель — разные вещи: здесь теория — это объект, отображением которого служит модель, используемая в качестве орудия исследования этого объекта; в эмпирических науках (какой является структурная лингвистика — Д. К.) теория и модель должны быть подведены под одно понятие... Отсюда для эмпирических наук можно дать следующее определение термину «модель»: модель — это теория, имеющая наглядное содержание в виде образов, служащих аналогами ненаблюдаемых объектов» (106 — стр. 77).

Однако мы будем употреблять термин «модель» и в том значении, которое этому термину дается в математических науках, где теория является оригиналом или объектом для модели, и где модель служит отображением объекта и используется в качестве орудия исследования данного объекта, т. е. теории, ибо в сравнительно-историческом изучении языков (т. е. объектов) на основе собственно лингвистической теории определенности и неопределенности, теорию и модель, как нам кажется, отождествлять невозможно. Структурная модель образования и развития грамматических форм будет использована как раз в качестве орудия исследования избранного нами объекта и в качестве средств обоснования теории определенности-неопределенности.

Тут необходимо оговориться, что создание собственно лингвистической теории, напоминающей по своему характеру и содержанию различные теории в математических науках, связано со многими трудностями. Эти трудности заключаются, по-нашему, в установлении точки соприкосновения математики и лингвистики, т. е. в установлении взаимоотношений этих двух, на первый взгляд, далеких одна от другой наук.

Как уже было сказано, попытка построения аксиоматических теорий в области лингвистики и соединения лингвистических методов с методами математической логики впервые была сделана представителями копенгагенской школы структурной лингвистики.

Основные понятия о математической логике, о построении аксиоматических систем и математических теорий, об особенностях использования математических методов в лингвистике достаточно четко изложены в статье М. В. Мачавариани «О взаимоотношениях математики и лингвистики» (журнал «Вопросы языкознания», № 3, 1963, стр. 85—91). Мы воспользуемся ее работой и приведем некоторые выдержки, чтобы читатель имел общее представление о специфике математических методов и о возможности и полезности их применения в лингвистике.

Проводя четкую грань между этими двумя науками, М. В. Мачавариани пишет: «Во-первых, а) у различных математических методов одна методологическая основа, одни общие принципы; б) в различных отраслях математики встречаются одни и те же понятия... Во-вторых, кроме этих общих свойств и понятий, в каждой области математики выделяются специфические математические методы; имеются свойственный данной отрасли математический аппарат, конкретные доказательства, формулы и т. д. Каждая отрасль математики создает свою собственную теорию... Математическое рассуждение — это строгое логическое доказательство. Для открытия своих теорем математика пользуется моделями, аналогиями, примерами, но математическая теорема входит в математическую систему только после того, как она доказана логическим рассуждением... Обычное требование математической строгости состоит в том, что доказательство должно опираться на аксиомы и не использовать ничего (даже самого очевидного), что не содержится в аксиомах, и выводить следствия из аксиом путем логического рассуждения...

Ни одна математическая отрасль не довольствуется накоплением отдельных законов, теорем и доказательств. Чистая математика всегда стремится связать эти отдельные точные данные в одну строгую систему и тем самым создать цельную математическую теорию. Наиболее яркое применение эта черта нашла в аксиоматически построенных системах» (61— стр. 85).

Относительно возможности применения математических методов в лингвистике М. В. Мачавариани говорит, что «в языкознании все более четко формулируются требования строгости, точности и даже аксиоматического характера построения языковой теории. Во многих отраслях современной лингвистики, особенно — в фонологии,

достигнутая точность почти граничит с математикой... Точность и систематический характер языковедческой теории (подразумеваются фонологические, грамматические, семасиологические теории) будут достигнуты не на основании механического перенесения в лингвистику общих принципов математической методологии, а благодаря тому, что некоторые стороны самого объекта лингвистики, в частности системность, структурность языка, при адекватном (т. е. равнозначном — Д. К.) их изучении с необходимостью потребуют строгости, системности самого метода и теорий в той мере, в какой это позволят разные аспекты языка» (61— стр. 86—87).

По ее мнению, при изучении языка математические методы можно применять с трех точек зрения: 1) анализировать лингвистический материал для целей математики... В этом случае мы остаемся в пределах математики; 2) выразить математическим языком (если это возможно) готовые лингвистические научные данные, полученные путем применения лингвистических методов и ранее сформулированные на языке лингвистики; 3) изучить математическими методами непосредственно лингвистические объекты, установить новые, неизученные свойства этих объектов, свойства, которые не поддаются изучению нематематическими методами... Во втором и третьем случаях мы находимся в сфере так называемой математической лингвистики (61— стр. 89).

В заключение автор делает вывод, что применение математических методов **не превращает лингвистику в чисто дедуктивную науку**. Дедуктивный метод здесь все время взаимодействует с эмпирическим изучением фактов конкретных языков... С нашей точки зрения, ценность новой методологии математической лингвистики заключается в том, что когда при помощи математических методов удается раскрыть явно механизм действия определенных структур, например, раскрыть механизм действия грамматики языка, этот механизм начинает действовать с автоматической точностью. С теоретической точки зрения это значит, что языковедческая теория получает объективное подтверждение своей истинности и из гипотезы превращается в доказанную теорию (61— стр. 91).

В связи с рассмотрением в общих чертах сущности математических методов и возможности их использования в лингвистике для доказательства истинности полученных

выводов путем логического рассуждения, как это делается при доказательстве любой математической теоремы, может возникнуть много вопросов, так как некоторые языковеды имеют весьма смутное представление об основах математической логики, о методах построения математических теорий, о том, как использовать их в сравнительно-исторической грамматике близких и отдаленных родственных языков, что из себя представляет система аксиом в грамматике и из каких неопровержимых элементов она состоит, как построить и сконструировать общую структурную модель языка при сравнительно-историческом изучении родственных языков и т. д. и т. п.

На все эти и другие возникающие вопросы невозможно ответить сразу. Многие из них выяснятся в ходе структурного анализа грамматических явлений урало-алтайских языков на основе лингвистической теории определенности-неопределенности, к предварительному рассмотрению которой мы переходим.

§ 13. О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ — НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (ТЕОРИЯ ОПНО)

Среди гуманитарных наук лингвистику издавна относят к разряду точных наук наряду с математикой и другими точными науками. Подтверждением этому является тот факт, что в наше время благодаря применению математических методов в языкознании удалось создать ряд лингвистических теорий, напоминающих по своему характеру математические теории, в частности теорию информации со сложной системой алгоритмирования и кодирования текста для машинного перевода, теорию порождающих грамматик и т. д. Делается также попытка применить к изучению языка методы математической статистики, чисто математическую теорию множеств, теорию вероятности и др. Все эти теории применяются в лингвистике в плане синхронного подхода к изучению тех или других аспектов языка, т. е. к изучению фактов языка, которые отражают его современное состояние без учета его исторического развития (диахронии).

Напротив, собственно лингвистическая теория определенности — неопределенности предполагает исследо-

вание языка или групп родственных языков, в частности урало-алтайских, с точки зрения исторического развития их грамматического строя. Поскольку теория ОПНО предназначена для диахронического изучения ограниченного круга родственных языков, она не претендует на универсальность.

Как видно из ее названия, в основе теории ОПНО лежит грамматическая категория определенности и неопределенности. Происхождение тех или других грамматических форм урало-алтайских языков на основе теории определенности — неопределенности во всей своей полноте может быть выяснено только в том случае, если грамматический строй упомянутых языков будет рассматриваться как единая система.

Когда речь заходит о грамматической категории определенности и неопределенности в том или другом языке урало-алтайской семьи, ученые, как правило, отождествляют эту категорию с определенным и неопределенным артиклем западноевропейских языков. Соответственно и определение этой грамматической категории дается, исходя в основном из специфики употребления определенного и неопределенного артикля в том или другом случае. Это видно хотя бы из высказываний тюркологов М. Казембека, Н. К. Дмитриева, Э. В. Севортяна и других (см. ниже).

С позиции индоевропейских языков некоторые ученые часто подчеркивали неразвитость определенного артикля в урало-алтайских языках (152— стр. 7). Известный алтаист Г. И. Рамstedт, возражая против точки зрения К. Гренбека, рассматривавшего формант *-i* (*-u*) как древний суффицированный определенный артикль в тюркских языках (135— стр. 92), считал, что артикль во всех языках представляет собой последнюю стадию в процессе утрачивания словами своего собственного значения (75— стр. 69—70).

Таким образом, сущность грамматической категории определенности и неопределенности в урало-алтайских языках сводилась в основном к артиклю и тем самым подход к этой грамматической категории был узкоконтекстовым. В сущности же дело заключается вовсе не в артикле как препозитивной или постпозитивной частице, а в самой идее определенности и неопределенности, которая основана на принципе противопоставления определенных и

неопределенных предметов и явлений в окружающей нас действительности. В этом плане идея определенности и неопределенности тесно связана с мыслительной деятельностью человека.

Идея определенности и неопределенности сама по себе является категорией логической. Однако между логической и грамматической категориями существует неразрывное единство, и логическая категория лежит в основе грамматической.

Академик И. И. Мещанинов, долго занимавшийся проблемой языка и мышления, справедливо писал, что «логические категории получают свое внешнее выражение в языке. Для их передачи используются в языке соответствующие грамматические построения. Логическое содержание, соединяемое с его грамматическим выражением, образует в языке не обособленные, а совместно выступающие логико-грамматические категории, устанавливающие грамматическую форму как в морфологических, так и аморфных конструкциях предложения. Эти выделяемые в нем категории образуются абстрактной передачей логического содержания и его же конкретизацией в грамматической форме» (64— стр. 12).

Таким же образом в урало-алтайских языках возникла и категория определенности и неопределенности, имеющая свое грамматическое выражение в виде различных суффиговых, инфигированных и других показателей определенности и неопределенности.

Грамматическая категория определенности и неопределенности в упомянутых языках чрезвычайно развита и представляет собой весьма сложную картину. Сложность ее состоит в том, что эта категория пронизывает всю грамматическую систему урало-алтайских языков и выражается в разнообразной форме. Она строго взаимосвязана и отражается как в сфере имени, так и в сфере глагола или в сфере имени и глагола одновременно.

Поскольку в основе грамматической категории определенности и неопределенности в урало-алтайских (да и в других) языках лежит логическая категория, связанная с мыслительной деятельностью человека, то эта категория, несомненно, является такой же древней, как и само мышление. В этой связи предположение Д. Дечи о том, что различие определенности и неопределенности в форме объектного и безобъектного спряжения в угорских языках

относится к важнейшим синтаксическим признакам финно-угорского языка-основы (126—стр. 160), следует считать вполне справедливым, потому что такое утверждение, на наш взгляд, не противоречит учению о единстве языка и мышления и не отрывает логическую категорию от грамматической.

Напротив, К. Е. Майтинская и В. И. Лыткин в своей рецензии на работу Д. Дечи, перечисляя способы выражения категории определенности и неопределенности в мордовских, пермских и марийских языках, считают, что данная категория в финно-угорском языке-основе существовала только в виде тенденции (54—стр. 234). С этим мнением вряд ли можно согласиться, ибо рецензенты отрывают логическую категорию от грамматической, что, в свою очередь, ведет к отрыву языка от мышления.

Грамматически ясно выраженные формы определенности и неопределенности лежат на плоскости почти всех урало-алтайских языков. Причем, в уральских языках, в частности в угорских, мордовских и самодийских, грамматическая категория определенности и неопределенности как в сфере глагола, так и в сфере имени выражается более четко и в описательном плане довольно хорошо разработана. Что касается алтайских языков, то эта категория рассматривается только в сфере имени, т. е. в рамках прямого дополнения; в сфере глагола она остается незамеченной. В сравнительно-исторических исследованиях эта грамматическая категория не упоминается, очевидно, потому, что многие показатели определенности исторически срослись друг с другом, образовав ныне цельный комплекс в виде сложных аффиксов, многие из которых утратили свое былое значение определенности, а неопределенность во многих случаях часто выражается без какого-либо формального показателя. А механизм сращения показателей определенности и неопределенности невозможно выяснить методами старой школы сравнительного языкознания.

Наконец, следует помнить, что ни один математик, каким бы знаменитым он ни был, не в состоянии объяснить двумя-тремя фразами сущность и принципы той или другой математической теории, основанной на аксиоматически построенных системах. Для этого требуется чтение целого курса по тому или другому разделу математических наук.

Точно так же невозможно в двух-трех словах изложить сущность собственно лингвистической теории ОПНО, в

основу которой также должны лечь аксиоматически построенные системы, состоящие из многих взаимосвязанных между собой элементов. Как в синхронном, так и в диахроническом плане теория ОПНО состоит из нескольких составных частей. На наш взгляд, они следующие: а) грамматическая категория определенности; б) грамматическая категория неопределенности; в) показатели определенности и неопределенности; г) основы определенности и неопределенности; д) простые и сложные основы определенности и неопределенности и т. д.

Хотя определенность и неопределенность противопоставляются друг другу, однако они тесно связаны между собой, и каждую из перечисленных составных частей целесообразно рассматривать отдельно и как можно подробнее. Для этого, разумеется, необходимо привлечь как можно больше фактического материала из разных языков урало-алтайской семьи, устанавливая органическую связь между этими фактами путем логического рассуждения, чтобы доказать существование того или другого необычного с точки зрения индоевропейских языков явления или происхождение тех или иных грамматических форм в урало-алтайских языках. Только при таком условии, на наш взгляд, будет облегчено понимание сущности теории ОПНО, фундаментом которой служит принцип математической логики.

§ 14. ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Видный тюрколог Н. К. Дмитриев следующим образом определял эту категорию: «Грамматически определенным может быть лишь имя. Если обозначаемое именем явление было предметом нашего опыта и, таким образом, известно нам, такое имя считается грамматически определенным и в функции прямого дополнения употребляется с показателем винительного падежа. Если о предмете нам сообщается впервые и мы о нем до этого не знали, то предмет считается грамматически неопределенным и в функции прямого дополнения не получает показателя винительного падежа» (27— стр. 32).

Возражая против точки зрения Н. К. Дмитриева о том, что определенность имени связана с опытом говорящего,

другой тюрколог Э. В. Севортян о категории определенности пишет: «Во-первых, прямое дополнение считается грамматически определенным (для говорящего и слушающего) после того, как оно впервые названо в речи. Следовательно, вовсе не обязательно, чтобы прямое дополнение было предметом нашего опыта и познано конкретно вещественно, хотя могут быть многочисленные другие случаи совпадения грамматической определенности с неопределенностью конкретно вещественной; во-вторых, грамматическая определенность прямого дополнения представляет собой особый случай его обособления ст сказуемого» (87— стр. 89—90).

Под «обособлением» Э. В. Севортян, очевидно, понимает те случаи, когда прямое дополнение, отделяясь от сказуемого и утрачивая тем самым интонационное единство с ним принимает аффикс винительного определенного падежа не только в тюркских, но и во многих других урало-алтайских языках (40— стр. 240). Что касается вопроса о том, что определенность имени связана с опытом говорящего, то этот момент целесообразно перенести в сферу глагола, так как употребление определенного и неопределенного (или очевидного и неочевидного) времени глагола во многих урало-алтайских языках именно связано с опытом говорящего.

В «Грамматике бурятского языка» (1938 г.) об употреблении винительного падежа мы читаем: «Винительный падеж употребляется от имен, обозначающих предметы, о которых речь уже шла в предшествующих предложениях и которые поэтому являются совершенно определенными и конкретными; далее, в тех случаях, когда при данном имени имеется определение в виде указательного местоимения» (стр. 123).

Приведенные суждения ученых о грамматической категории определенности и неопределенности касаются лишь имени, выступающего в функции прямого дополнения в винительном определенном или винительном неопределенном падеже; в сущности эти суждения не отличаются от точки зрения видного тюрколога первой половины прошлого века М. А. Казембека и являются его улучшенным вариантом. Винительный неопределенный падеж в функции прямого дополнения М. А. Казембек ошибочно считал тогда именительным, как и некоторые современные тюркологи, и писал по этому поводу: «Винительный падеж

заменяется именительным в следующих случаях: когда предмет действия не определен и имя предмета непосредственно предшествует глаголу; винительный падеж не заменяется именительным, когда неопределенное какое-нибудь имя по своему смыслу во фразе ограничивается и как бы определяется» (35— стр. 382—383).

При этом в приведенных определениях не учитываются те многочисленные случаи (а их более 15), при которых употребление винительного определенного падежа является обязательным не только в тюркских, но и в большинстве других урало-алтайских языков. В тех же случаях употребляется и определенно-объектное спряжение переходных глаголов в венгерском и обско-угорских языках. Следовательно, одна и та же логическая категория определенности находит свое конкретное грамматическое выражение в разных сферах языка — в сфере имени или в сфере глагола.

Исследователи финно-угорских языков, в частности коми-пермяцкого и коми-зырянского, учитывая то, что притяжательные формы указывают на конкретный предмет, обычно называют их «указательными формами существительных», избегая термина «определенность», а винительный определенный падеж — «винительным выделительным» (17— стр. 29—33; 50— стр. 198—199). В этом вопросе более объективным был автор «Грамматики коми-пермяцкого языка» И. И. Майшев, который в коми-пермяцком языке различал два типа склонения существительных: 1) неопределенное склонение, т. е. склонение имен без притяжательных аффиксов, и 2) определенно-притяжательное склонение, или склонение имен с притяжательными аффиксами, которые одновременно указывают и на определенность имени (55— стр. 26—28).

В монгольских языках наличие двух винительных падежей было замечено еще в 30-х годах прошлого столетия Я. Шмидтом, который назвал их «первым винительным» и «вторым винительным» падежом (108— стр. 33). Известный монголист А. Бобровников впервые попытался установить, в каких случаях в халха-монгольском языке употребляется винительный падеж с аффиксом, а в каких — без аффикса, но пришел к выводу, что «точное правило на то, когда должен быть винительный падеж с частицей и когда без частицы, поставить трудно» (14 — стр. 241).

Вопросу о винительном определенном и винительном неопределенном падежах в халха-монгольском языке посвящена специальная статья Б. Х. Тодаевой, которая на многочисленных фактах впервые показала, в каких случаях в халха-монгольском употребляется винительный определенный, а в каких — винительный неопределенный падеж (98— стр. 368—373). Причем условия употребления винительного определенного падежа в халха-монгольском и других монгольских языках одинаковы с условиями употребления этого же падежа в тюркских и частично в пермских языках. Эти же условия, как уже говорилось, совпадают с теми, которые требуются для употребления формы определенно-объектного спряжения переходных глаголов в угорских языках. В свою очередь, это свидетельствует о том, что в названных урало-алтайских языках категория определенности как конкретно-грамматическое выражение одной и той же логической категории определенности связана одной общей цепью и представляет генетическое единство.

Яркое проявление этого видно в том, что в функции показателя как винительного определенного падежа в огузско-тюркских и частично в пермских языках, так и определенно-объектного спряжения переходных глаголов в угорских языках выступает соответственно притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа.

То же самое следует сказать и о происхождении прошедшего определенно-очевидного времени на *-ды* (из *-ты*), например, *йаз-ды* 'он писал' в тюркских языках. В тюркологии о происхождении этой формы времени идет спор уже более ста лет, и этот вопрос остается до сих пор нерешенным. Причина этого заключается в том, что форма прошедшего времени на *-ды* не рассматривается как прошедшее определенное со значением очевидности совершившегося действия в прошлом. Между тем аффикс прошедшего времени *-ды* состоит из двух сращенных формантов: 1) *д/-т*, который некогда образовал причастие прошедшего времени в тюркских языках и 2) из форманта *-ы/-и*, являющегося притяжательным аффиксом 3-го лица единственного числа для имен, оканчивающихся на согласный. Присоединяясь к глагольной основе на *-д /-т*, формант *-ы/-и* также выражал определенность, которая в сознании людей, говорящих на тюркских языках, воспринималась как очевидность совершившегося в прошлом действия.

Точно таким же путем образуется прошедшее время определенно-объектного спряжения переходных глаголов в угорских языках, в частности в венгерском: к причастию прошедшего времени на *-t* наращивается притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа *-a /-e*, например, *irt-a* 'он писал то, это'.

То же самое мы имеем в якутском языке: к глагольной основе на *-т- (-t-)* присоединялся притяжательный аффикс 3-го лица *-а/-э*, ср. якут. *кيني быст-а* 'он резал' — прошедшее определенно-очевидное время. Этот же притяжательный аффикс 3-го лица (*-а/-э*), присоединяясь к неопределенной (неочевидной) форме прошедшего времени типа *кيني ылбыт* 'он взял', образует форму прошедшего определенного (очевидного), но относительного времени: ср. якут. *кيني ылбыт-а* 'он брал тогда' (наряду с синонимичной формой *кيني ылбыт эте* в том же значении).

Характерно, что в мансийском языке признаком определенного спряжения переходных глаголов служит формант *-л* для единственного числа объекта и формант *-аг/-яг* для двойственного числа объекта (7— стр. 126). При этом формант *-л* (или *-ль*) является притяжательным аффиксом 3-го лица единственного числа в хантыйском языке, а формант *-г/-аг/-яг* — притяжательным аффиксом 3-го лица двойственного числа в самом мансийском языке и т. д.

То, что прошедшее время на *-ды* в тюркских языках является определенным, видно еще из следующего факта: форма 1-го и 2-го лица единственного числа этого прошедшего времени никогда не принимает личных аффиксов *-мын/-ман* или *-сын/-сан*. Так, во всех тюркских языках мы имеем дело с формой типа *алды-м* 'я взял' и *алды-ң* 'ты взял', а не *алды-мын* и *алды-сын*. Поскольку один показатель определенности (*-ы/-и*) имеется в составе личного аффикса, то присоединение другого показателя в виде *-ман/-мын (-сан/-сын)* является лишним.

Что касается других финно-угорских языков, в частности пермских, прибалтийско-финских и марийских, то в этих языках прошедшее определенное (очевидное) время образуется при помощи форманта *-i (-и)* или *-ы*, который, в свою очередь, выступает в функции притяжательного аффикса 3-го лица для имен, оканчивающихся на гласный в чувашском языке, ср. чув. *ача* 'ребенок' и *ач-и* 'его ребенок'. А в венгерском языке формант *-i (-и)* является признаком определенно-объектного спряжения у группы гла-

голов настоящего времени, а также притяжательным аффиксом 3-го лица наряду с *-a/-e* в тех случаях, когда падежные аффиксы, принимая притяжательные, выполняют функцию личных местоимений в косвенных падежах, ср. венг. *nek-t* 'ему', *nál-a* 'у него' *'vel-e* 'с ним' и т. д.

Поскольку притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа выражает определенность, то этот аффикс выступает также и в функции показателя винительного определенного падежа во многих урало-алтайских языках. Так, общетюркский притяжательный аффикс 3-го лица *-bi/-u* для имен, оканчивающихся на гласный, является аффиксом винительного определенного падежа для тех же имен в огузско-тюркских и якутском языках. Этот факт был установлен в свое время еще В. А. Богородицким, который высказал предположение о генетическом единстве окончания винительного падежа *-bi/-u* с притяжательным аффиксом 3-го лица (15—стр. 156).

Эта гипотеза В. А. Богородицкого подтверждается на фактах ряда урало-алтайских языков. Так, якутский притяжательный аффикс 3-го лица *-a/-э* для имен с согласным на конце выступает в функции аффикса винительного определенного падежа для тех же имен в чувашском языке. Но так как формант *-a/-э* является общеурало-алтайским аффиксом пространственного падежа, то формы винительного определенного и дательного-направительного падежа в чувашском языке совпали, ср. чув. *арман-а* 'мельницу (вижу) и *арман-а* 'на мельницу' (еду) и т. д.

В пермских языках не только притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа *-c/-з*, но и притяжательный аффикс 1-го лица единственного числа в ряде случаев выступает как аффикс винительного определенного падежа ср. коми-перм. *ки-ө* 'моя рука', *ки-ыс* 'его рука', но *ки-ө-с* 'мою руку', *ки-с-ө* 'его руку', *ки-ныс-ө* 'их руку' и т. д.

Аналогичное явление характерно и для угорских языков. Притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа *-т (-эт)* мансийских диалектов является показателем винительного падежа в венгерском языке; ср. манс. диал. *ло-эт* или *лог-эт* 'его конь' и ср. винительный падеж в венгерском: *lova-t* (лова-т) 'коня' и т. д.

По общей структурной модели мансийский диалектный притяжательный аффикс *-т (-т)* служит также и признаком прошедшего очевидно-определенного времени в прибалтийско-финских языках на их более ранней стадии разви-

тия наряду с притяжательным аффиксом 3-го лица *-i* (*-u*). Однако форманты «*t*» и «*ti*» впоследствии срослись воедино; при этом под влиянием *-i* формант *-t* как звук перешел в *-s* (*-c*), в результате чего образовался аффикс прошедшего определенного времени *-si* (*-cu*), существующий сейчас параллельно с аффиксом прошедшего времени *-i* (*-u*); ср. фин. *tie-si* < *tie-ti* 'он знал' и *istu-i* 'он сидел' (91—стр. 152—154). В последнем примере признаком прошедшего очевидного времени является формант *-i*, как и в пермских языках, ср. удм. *so yuk-u-z* 'он смотрел', в отличие от *so yuk-em*, он смотрел, оказывается'.

Б. А. Серебренников формант *-s* в составе аффикса *-si* возводит к форманту *-t*, который имеется в составе аффикса инфинитива *-ta*, ср. фин. *vasta-ta* 'отвечать' и *vasta-si* из *vasta-ti*. 'он ответил' (89—стр. 103). В таком случае возникает вопрос, почему в других финно-угорских языках, например в пермских и марийских, нет случаев образования прошедшего определенно-очевидного времени путем приобщения аффикса инфинитива с формантом *-i* (*-i*) или *-ы*? Иными словами, почему упомянутая форма прошедшего времени в финском языке исторически образовалась по одной структурной модели, а в других финно-угорских языках — совершенно по другой? У Б. А. Серебренникова остается неясным также вопрос, что первоначально представляли из себя форманты «*t*» и «*ti*».

Далее. В тунгусских языках в функции притяжательного аффикса 3-го лица единственного числа выступает формант *-н*, ср. эвенк. и эвен. *дю* 'дом, юрта' и *дю-н'* 'его дом, его юрта' и т. д. По общей структурной модели формант *-н* закономерно выступает в функции винительного определенного падежа у имен с притяжательным аффиксом 3-го лица в восточно-тюркских и кипчакско-тюркских языках, ср. кипч. *ата-сы*, якут. *ага-та* 'его отец' и соответственно *ата-сы-н*//*ага-ты-н* 'его отца'. Формант *-н* является аффиксом винительного определенного падежа также и в прибалтийско-финских (кроме эстонского) и мордовских языках. Тот же формант *-н* выступает в функции аффикса родительного определенного падежа в монгольских, западных огузско-тюркских, чувашском, марийских и в тех же мордовских и прибалтийско-финских языках (кроме эстонского), а также у имен с притяжательным аффиксом 3-го лица в якутском языке. Это объясняется тем, что винительный определенный и родительный определенный

падежи во многих урало-алтайских языках исторически возникли из одного источника и имеют генетическое единство так как оба эти падежа выражают определенность.

Кипчакско-тюркская и восточно-тюркская форма винительного определенного падежа типа *ата-сы-н* 'его отца' и *ат-ы-н* 'его коня' в южно-тюркских языках утратила свое значение винительного определенного падежа и воспринималась как основа имени с согласным на конце. Поэтому к этой основе наращивался аффикс винительного определенного падежа *-ы/-и* для имен с согласным на конце, ср. туркм. и азерб. *атасы-н-ы*, узб. *отаси-н-и* 'его отца' (вижу). Таким образом, в форме типа *атасы-н-ы* 'его отца' мы имеем факт сращения двух показателей винительного определенного падежа: а) показателя *-н-*, восходящего к притяжательному аффиксу 3-го лица единственного числа в тунгусских языках и б) показателя *-ы/-и*, восходящего к притяжательному аффиксу 3-го лица единственного числа для имен с согласным на конце в тюркских языках; ср. общетюрк. *ат-ы* 'его конь'.

По такой же структурной модели возникла форма винительного определенного падежа у имен с согласным в конце слова в северных и восточных кипчакско-тюркских языках: к древнейшей форме винительного определенного падежа на *-т-*, утратившего впоследствии свое значение, наращивался аффикс винительного определенного падежа *-ы/-и/-е*; ср. казах. и каракалп. *бас-ты*, хакас. *пас-ты*, башк. *баш-ты* (из *бас-т-ы*, *баш-т-ы*) 'голову'. Причем формант *-т-* в составе аффикса *-ты* также восходит к притяжательному аффиксу 3-го лица единственного числа в мансийских диалектах.

Как уже говорилось, формы винительного определенного и родительного определенных падежей в большинстве урало-алтайских языков генетически восходят к одному источнику. Это видно из того, что в прибалтийско-финских, мордовских, северокавказских тюркских языках и узбекских диалектах существует только одна форма для этих двух падежей. Причем, в северо-кавказских тюркских языках, в частности в карачаево-балкарском, у имен с притяжательным аффиксом 1-го и 2-го лица в функции винительного-родительного падежа выступает формант *-ы/-и*, ср. карач.-балк. *атаң-ы китабы* 'книга твоего отца' и *бүгюн атаң-ы кердюм* 'сегодня твоего отца видел' и т. д.

В халха-монгольском языке формант *-ы* также выступает как аффикс родительного падежа у имен, оканчивающихся на *-н*, ср. халха-монг. *оюутан* 'студент' и *оюутн-ы ном* 'книга студента', *дуун* 'песня' и *дуун-ы нэр* 'название песни' (97— стр. 59). В халха-монгольском языке формант *-ы* в определенных случаях является также признаком винительного определенного падежа; ср. *гар* 'рука', *гар-ыг* 'руку', но *гары минь* 'руку мою' (97— стр. 63). В калмыцком же языке имена, оканчивающиеся на *-н* в родительном падеже принимают аффикс *-а/-э*, ср. калм. *хөөн-э ноосн* 'шерсть овцы' или *хөөн-э ноосн-а план* 'план стрижки овец' (69— стр. 37). В калмыцком языке показатель родительного падежа *-а/-э* не следует рассматривать как результат расширения форманта *-ы*, выступающего в качестве показателя того же падежа в приведенных выше примерах из халха-монгольского языка. Подобно тому, как формант *-ы* выступает в функции винительного определенного и родительного определенного падежей в тюркских и халха-монгольском языках, формант *-а/-э* также является аффиксом винительного определенного падежа у имен, оканчивающихся на согласный, в чувашском языке.

Из всего изложенного можно сделать следующий предварительный вывод: во-первых, если учесть то обстоятельство, что мансийский диалектный притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа *-m (-t)* как показатель определенности служит аффиксом винительного определенного падежа не только в венгерском, но и в сращенном виде в северных и восточных тюркских языках, а также показателем прошедшего определенно-очевидного времени в прибалтийско-финских языках наряду с чувашским притяжательным аффиксом 3-го лица *-и (-i)*, который является признаком этого же прошедшего времени в пермских языках, и что якутский притяжательный аффикс 3-го лица *-а/-э* выступает в функции аффикса винительного определенного падежа в чувашском языке, а тунгусский притяжательный аффикс 3-го лица единственного числа *-н* — в функции того падежа в восточных и кипчакско-тюркских языках, то можно считать, что мансийский, чувашский, якутский и тунгусские языки хронологически ближе стоят к урало-алтайскому языку-основе, чем другие языки этой семьи.

Во-вторых, гипотеза о генетическом единстве аффиксов притяжательной формы 3-го лица и винительного

определенного падежа является проверяемой, а ее истинность подтверждается на фактах большинства урало-алтайских языков. Следовательно, путем системно-структурного анализа фактов названных языков и эту гипотезу следует считать доказуемой, что, в свою очередь, открывает надежный путь к доказательству древнего материального родства урало-алтайских языков.

Разумеется, в данном разделе рассмотрены не все случаи грамматического выражения определенности в урало-алтайских языках; они будут рассмотрены также в связи с показателями и основами определенности. Однако приведенные факты свидетельствуют о многогранности и сложности этой грамматической категории в урало-алтайских языках в диахроническом плане. Однако рассмотренные же факты связаны с одной неразрывной цепью, которая составляет сложную внутреннюю ткань названной семьи языков. Попытка разобраться в этом сложном организме как системе в диахроническом плане отсутствовала как у сторонников, так и у противников родства урало-алтайских языков по разным причинам, о которых частично уже говорилось.

§ 15. ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

С точки зрения теории ОПНО важно установить, что можно считать неопределенным, кроме общеизвестного, лежащего на поверхности урало-алтайских языков прямого дополнения в винительном неопределенном падеже, неопределенного (безобъектного) спряжения глаголов, прошедшего неочевидного времени и т. д. В отличие от грамматически ярко выраженной категории определенности, имеющей свои суффиксированные показатели, неопределенность может и не иметь своих показателей, так как имя или глагол в своей исходной основе часто выражает идею неопределенности. Это обстоятельство в какой-то мере затрудняет выявить грамматическое выражение неопределенности. Однако, осуществляя системно-структурный подход к языковым фактам, это затруднение можно преодолеть.

Грамматически неопределенным следует считать: а) множественность, или форму индивидуальной и групповой

множественности, т. е. множественного числа, в отличие от единственного и двойственного числа; б) форму 3-го лица, в отличие от форм 1-го и 2-го лица; в) форму 2-го лица единственного числа повелительного наклонения; г) форму будущего времени изъявительного наклонения; д) форму условного наклонения; е) отрицательную форму, или отсутствие; ж) пространственные падежи, в частности дательного-направительный, местно-направительный, а также внешне-местные падежи; з) безличные синтаксические конструкции и неличные глагольные формы; и) краткие формы личных местоимений в некоторых урало-алтайских языках; к) предметы и явления, находящиеся в отдаленности, т. е. вне поля зрения говорящего; л) вопросительная форма и т. д. и т. п.

В большинстве урало-алтайских языков категория неопределенности характеризуется, как уже говорилось, тем, что у грамматически неопределенной формы часто отсутствует формальный показатель как в сфере имени, так и в сфере глагола. Однако дело не ограничивается только этим. Категория неопределенности, как и категория определенности, многогранна по форме и грамматически выражается разными способами — при помощи показателей неопределенности, изменения гласных и согласных звуков в корне слова, она связана с множественностью, с пространством, временем и т. д. и т. п.

Чистая, или безаффиксальная, основа имени в урало-алтайских языках может передавать не только идею неопределенности и единичности, но и идею множественности. Так, в татарском предложении *ул авылда сыер көтә* 'он в деревне коров пасет' прямое дополнение *сыер* (корова) формально стоит в единственном числе. Но говорящий и слушающий подразумевают неопределенное множество коров (стадо). Поэтому в приведенном примере нет надобности ставить дополнение во множественном числе в виде *сыерлар* (коровы). То же самое и в калмыцком, ср. *тер укр хэрүлнэ* 'он коров пасет', где дополнение в единственном числе выражает идею множественности, если это действие является профессией. Такое явление характерно для многих урало-алтайских языков. Ср.: монг. класс. *тере дабаган-дур йабуши үгеи моду хада буи* 'на том перевале непроходимые леса и скалы (имеются)' (82—стр. 183). В этом примере сказуемые *моду* 'лес' и *хада* 'скала' стоят в единственном числе, но они выражают идею множествен-

ности. Если имя имеет конечный неустойчивый элемент *-н/ң*, то в таких случаях это *-н* в монгольских языках отбрасывается, так как это конечное *-н* в монгольских (и тунгусо-маньчжурских) языках фактически является древним суффиксированным определенным артиклем. Поэтому, когда имя выражает неопределенность, конечное *-н* обязательно опускается, так что в приведенном примере слово *моду* 'лес' не может употребляться в виде *модун*. Ср. еще бурят. *тэрэ мори тахалба* 'он коня подковывает' в значении неопределенного коня. В этом примере определенное прямое дополнение *мори* не может употребляться в виде *морин* 'коня'. В монгольских и тунгусо-маньчжурских языках конечный артиклевый формант *-н (ң)* опускается также в ряде других случаев, связанных с неопределенностью.

Пример из эвенкийского языка: *колхозникал клублэ газетав, книгав, журналу таңготта* 'колхозники в клубе газеты, книги, журналы читают' (77—стр. 768). В данном примере прямые дополнения *газетав, книгав, журналу* стоят в единственном числе, но выражают неопределенное множество газет, книг и журналов, хотя они имеют аффикс винительного падежа *-в*. Кстати, в эвенском языке безаффиксальный винительный неопределенный падеж отсутствует.

Поскольку неопределенность выражает и множественность, то подлежащее и сказуемое во многих урало-алтайских языках не согласуется в числе, т. е. при множественном числе подлежащего сказуемое может стоять и в единственном числе; ср.: калм. *нурт шовуд өвмнэ* или башк. *күлдэ коштар йөзэ* 'на озере плывут птицы' (дословно: 'плывет').

Характерно, что в ряде тюркских языков согласование подлежащего и сказуемого в числе отсутствует также в безлично-пассивных конструкциях, так как в таких конструкциях неизвестно, кем совершается или совершено действие; ср.: тат. *Хатлар жибәрелде инде* 'Письма отправлены уже' (дословно: 'отправлено'). В данном примере формально-грамматическое подлежащее *хатлар* (письма) стоит во множественном, а сказуемое *жибәрелде* (отправлено) — в единственном числе. Аналогичное явление мы имеем в эстонском языке, но в безличных конструкциях идея неопределенности заключена в прямом дополнении, которое может стоять только в винительном неопределен-

ном падеже; ср. эст. *Osteti raamat* 'Купили книгу', *Lamp pandi lauale* 'Лампу поставили на стол'. В таких случаях в эстонском языке считается, что объект стоит в номинативе. Однако тот факт, что в приведенных примерах прямое дополнение (*raamat, lamp*) стоит в винительном неопределенном падеже, не подлежит сомнению.

Аналогичный случай характерен и для марийских языков, но прямое дополнение в винительном неопределенном падеже, как правило, употребляется только в сочетании с неспрягаемыми (неличными) формами управляемого глагола: инфинитивом, причастием, деепричастием, ср.: мар. *Плотник-влан пөрт чаңаш каят* 'Плотники дом строить идут', *Ушкал йүктен толеи* 'Она идет, напоив корову' (23— стр. 45).

На особенности употребления единственного и множественного числа и на то, что форма единственного числа может легко передавать идею неопределенной множественности, указывали многие ученые, занимавшиеся конкретными языками или группами языков урало-алтайской семьи (8— стр. 280; 103— стр. 74—75; 44— стр. 133—134; 26— стр. 219—220).

То, что множественность выражает неопределенность, видно также из следующих фактов некоторых урало-алтайских языков. Так, в венгерском языке форма 1-го лица единственного числа безобъектно-неопределенного спряжения глаголов настоящего времени принимает показатель неопределенности *-k*, являющийся аффиксом множественного числа имен: *én olvaso-k könyvet* 'я читаю книгу' (неопределенную), ср.: мн. число имен: *kéz* 'рука' и *keze-k* 'руки' и т. д. Некоторые глаголы на *-ik* (иковые глаголы) в неопределенном спряжении 3-го лица единственного числа настоящего времени также оформляются при помощи показателя неопределенности *-k*, ср.: *esz-ik* 'он ест', *isz-ik* 'он пьет' и т. д. Другие же глаголы в неопределенном спряжении 3-го лица единственного числа настоящего времени в венгерском языке вообще не имеют никаких показателей и совпадают с корнем (основой) глагола так же, как и повелительная форма глаголов 2-го лица единственного числа в большинстве урало-алтайских языков; ср.: венг. *ötanul* 'он учится', *öül* 'он сидит' и т. д. Это объясняется тем, что грамматическое третье лицо по своей природе является неопределенным, так как третье лицо находится вне поля зрения собеседников и в разной степени отдаленности от

них. Только этим можно объяснить следующий факт, связанный с формой 3-го лица: в башкирском языке термины близкого родства имеют на исходе формант *-й* (*-j*), например *атай* 'отец', *эсэй* 'мать', *апай* 'старшая сестра', *олатай* 'дедушка', *ағай* 'старший брат' и т. д. В притяжательной форме *-й* сохраняется только в 1-м и 2-м лице обоих чисел, но в форме 3-го лица отбрасывается; ср. башк. *атай-ым* 'мой отец', *атай-ың* 'твой отец', но *ата-һы* (вместо *атай-ы*) 'его отец', *ата-лар-ы* 'их отец' и т. д. Причина этого заключается в следующем: конечное *-й* в приведенных примерах исторически восходит к древнетюркскому (и монгольскому) показателю определенности *-r*, который выполняет функцию аффикса винительного определенного падежа; ср. древнетюрк. *ата-r* 'отца'. Формант *r* после перехода в *-й* в башкирском языке утратил свое былое падежное значение и теперь выражает определенность вообще. Поэтому это *-й* < *-r* в притяжательной форме 1-го и 2-го лица как показатель определенности закономерно сохраняется, а в 3-м лице отсутствует подобно тому, как отсутствует конечный артиклевый формант *-н* (*-ң*) у имен в монгольских языках, когда имена на *-н* выражают неопределенность, множественность, собирательность и т. д.

Кстати, в подобных случаях опускается формант *-й* у терминов родства и в башкирском языке, ср.: *ата-эсэ-лэр йыйылышы* (вместо ожидаемого *атай-эсэйзэр* 'родительское собрание', дословно: 'собрание отцов-матерей'), или: *Урал — беззең ата, олаталарзың төйгә* 'Урал — пристанище наших отцов и дедов' (вместо ожидаемого ...*атай, олатайзарзың*) и т. д. Формант *-й* опускается также в официальной речи, ср.: башк. *ата-м* 'мой отец', *эсэ-ң* 'твоя мать' и т. д. В других тюркских языках официальность и неофициальность в терминах родства выражаются разным способом, ср.: тат. *ана-м* 'моя мать' (официально) и *эни-ем* 'моя мать' (неофициально) и т. д.

В бурятском языке термины близкого родства (частично и другие слова) также имеют два варианта притяжательной формы 1-го и 2-го лица единственного числа, как и в башкирском; ср.: бурят. *аха* 'брат', *аха-м* и *аха-мни* 'мой брат', *эсэгэ* 'отец', *эсэгэ-ш* и *эсэгэ-шини* 'твой отец' и т. д. Однако исследователи бурятского языка (4—стр. 144—148; 85—стр. 92—94) не указывают, в каких случаях употребляется или желательно употреблять притяжательную форму типа *аха-м* 'мой брат', а в каких случаях —

аха-ми — в том же значении. Но выяснив значение параллельно употребляемых вариантов притяжательной формы в родственных языках, в которых грамматические формы образовались по единой структурной модели, можно с уверенностью сказать, что в бурятском языке притяжательная форма типа *аха-ми* ‘мой брат’ употребляется в основном в разговорно-бытовой, а *аха-м* ‘мой брат’ — больше в официальной речи.

В эвенкийском языке имена, оформленные аффиксом множественного числа, в качестве прямого дополнения могут стоять только в винительном неопределенном падеже, который, правда, имеет специальные аффиксы *-а/-э*, *-йа/-йэ*, *-йо*; ср.: например, эвенк. *минци гиркив книгал-а эмэвгин* ‘мой товарищ книги пусть принесет’, или *Тадук Акарамэ мэнькэн мотыл-а ванасинчан* ‘Затем Акарамэ сама сохатых убивать отправилась’ (46— стр. 53 и 269).

Аналогичный случай характерен также и для прибалтийско-финских языков, в которых существительное, стоящее во множественном числе и являющееся прямым дополнением, стоит только в винительном неопределенном падеже и не принимает никаких других аффиксов; ср.: фин. *Minä toin kirjat* ‘Я принес книги’ или эст. *Ma ostsin raamatud* ‘Я купил книги’. В прибалтийско-финских языках прямое дополнение в безаффиксальном винительном неопределенном падеже употребляется также с глаголами повелительного склонения, ср. фин. *Anna kirja minulle* ‘дай мне книгу’, или эст. *Osta raamat mule* ‘Купи мне книгу’ (дословно: дай книга... купи книга). В таких случаях в финском не может употребляться определенный аккузатив, а в эстонском — определенный генитив, выполняющий также функцию определенного аккузатива.

В эвенкийском языке мы имеем дело с аналогичным явлением: когда переходный глагол стоит в повелительной форме 2-го лица, прямое дополнение обычно стоит в винительном неопределенном падеже, который означает также неопределенную часть целого (45— стр. 49), ср.: эвенк. *укумми-йа уцкукэл* ‘Молока налей’, или: *Букэл ол-ло-йо* ‘Дай рыбы’ и т. д.

В якутском языке винительный неопределенный (но аффиксальный) падеж, указывающий на неопределенную часть целого, как и эвенкийский винительный неопределенный падеж и прибалтийско-финский партитив, также употребляется с переходным глаголом в повелительной

форме 2-го лица, ср.: якут. *мас-та кэрт* 'наруби дров' и т. д.

В приведенных примерах из некоторых прибалтийско-финских, эвенкийского и якутского языков мы обнаруживаем своеобразную морфологическую гармонию, указывающую на связь повелительной формы 2-го лица с категорией неопределенности. Это объясняется тем, что повелительная форма по своему значению предполагает совершение действия в будущем. При этом, когда будет это действие совершено и будет ли оно вообще совершено, остается неизвестным.

В большинстве других урало-алтайских языков с переходным глаголом в повелительной форме прямое дополнение можно поставить как в винительном определенном, так и в винительном неопределенном падеже в зависимости от определенности или неопределенности имени предмета или явления. Возникает вопрос: каким же образом тогда выражается идея неопределенности, скажем, если прямое дополнение стоит в винительном определенном падеже? Неопределенность заключена здесь в самом глаголе, который в повелительной форме 2-го лица единственного числа не имеет формальных показателей и совпадает с корнем или основой глагола. Другими словами, глагол в указанной форме имеет непроизводную основу, как и существительное, непроизводная основа которого также выражает неопределенность независимо от того, стоит ли это существительное в винительном неопределенном или же в именительном падеже.

Большой интерес представляет выражение неопределенности в эвенкийском и некоторых финно-угорских языках. Так, в эвенкийском языке винительный неопределенный падеж употребляется также с глаголом в отрицательной форме (46— стр. 52); ср.: эвенк. *пурта-йа экэл гара* 'нож не бери'. Следовательно, отрицание или отсутствие того или другого предмета также связано с идеей неопределенности. Как уже говорилось, эвенкийский неопределенный винительный падеж имеет также и партитивное (частичное) значение и вообще употребляется с глаголом в отрицательной форме. Точно так же обстоит дело в прибалтийско-финских языках: партитив, выражающий неопределенную часть целого, кроме других случаев, употребляется, как правило, с глаголом в отрицательной форме, ср. фин. *minä en lukenut tätä kirjaa* 'я не читал

этой книги', или ср. эст. *ma ei ostnud raamatut* 'я не купил книги' (91— стр. 79; 74— стр. 243).

Отсутствие личных аффиксов у глаголов в отрицательной форме, т. е. употребление чистой основы, в финно-угорских языках также следует считать закономерным, так как отрицание или отсутствие предмета выражает неопределенность. При этом препозитивная отрицательная частица может принимать и не принимать личные аффиксы. Во многих финно-угорских языках отрицательная частица принимает личные аффиксы, как и в тунгусских языках, а в эстонском у отрицательной частицы отсутствуют личные аффиксы; ср. эвенк. *би эчэ-в эмэрэ, си эчэ-с эмэрэ, нуңан эчэн эмэрэ* 'я (ты, он) пришел'; ср. удм. *мон өй малпа, тон өд малпа, со өз малпа* 'я (ты, он) не думал', но эст. *ma ei kirjuta, sa ei kirjuta, ta ei kirjuta* 'я (ты, он) не пишу'. Аналогичный случай частично характерен и для некоторых тюркских языков, ср. казах, *мин алған жоқ* 'я не брал', вместо ожидаемого *алғаным жоқ*, или башк. *мин уны күргән юк* 'я его не видел' вместо *күргәнем юк* и т. д.

В эвенкийском языке винительный неопределенный падеж употребляется также с глаголом будущего времени, ср. эвенк. *нуңан дукувун-а дукудяңан* 'он письмом напишет' ('будет писать'). Следовательно, грамматическое будущее время также указывает на неопределенность, поскольку неизвестно, совершится ли действие в будущем. Связь будущего времени с идеей неопределенности видна еще из того, что в большинстве тюркских языков неопределенное будущее время образуется при помощи форманта *-р*, который является показателем множественного числа глагольных форм в чувашском языке, а также некоторых имен в тунгусских языках.

Ср. башк. *ул йаз-ыр*, азерб. *о йаз-ар* 'он напишет, будет писать', отрицательная форма: азерб. *о йазма-з* 'он не будет писать', где формант *-з* также является показателем множественного числа в глагольных формах. Поскольку как будущее время, так и отрицательная форма глагола выражает идею неопределенности, то в некоторых тюркских языках отрицательная форма 1-го лица единственного и множественного числа будущего времени глагола вообще не имеет показателя будущего времени *-р* или *-с* (из *-з*), ср.: тат. *мин алма-мын* 'я не буду брать' и *без алма-быз* 'мы не будем брать'. В приведенных формах *-ма* являет-

ся отрицательной частицей, а *-мын* и *-быз* — личными аффиксами.

Однако башкирская форма будущего времени типа *ул йазыр* 'он будет писать' в азербайджанском языке является формой настоящего времени, ср.: азерб. *о йазыр* 'он пишет', или *о башлайыр* 'он начинает'. В азербайджанском языке форма будущего времени образуется тем же показателем *-р*, но узкий гласный звук *-ы (-и)* перед *-р* заменяется широким *-а (-э)*, ср.: азерб. *о йаза-р* 'он будет писать, напишет' или *о башлай-а-р* 'он начнет, будет начинать' и т. д. Здесь мы сталкиваемся с загадочным на первый взгляд явлением, и оно может быть разгадано в том случае, если понятие неопределенности, выражающееся в форме будущего времени, рассматривать в связи с множественностью. Так, в личных местоимениях некоторых урало-алтайских языков идея множественности-неопределенности грамматически выражается путем замены узких передних гласных широким или задним гласным, ср. общемонг. *би* 'я' и бурят. *ман, маанар, маанад*, догур. *баа* 'мы' (эксклюзив); ср. еще дагур. *ин* 'он', но *ан* 'они' (гласный долгий); ср. тат. *ул* 'он', но *алар* 'они', отсюда киргиз. и башк. диал. *ал* 'он'.

Аналогичный случай мы имеем и в мансийском языке, в котором личные местоимения двойственного числа имеют в основе передний узкий гласный звук, а во множественном числе — широкий задний гласный звук; ср. манс. *мэн* 'мы двое' и *ман* 'мы', *нэн* 'вы двое' и *нан* 'вы', *тэн* 'они двое' и *тан* 'они'. Как видно из примеров, как в мансийском, так и в монгольских языках показателем множественного числа у приведенных личных местоимений служит широкий гласный звук.

В большинстве тюркских языков у личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного числа *мин, мен* 'я' и *син, сен* 'ты' только в дательном-направительном падеже узкий гласный звук *и(е)* заменяется широким *а*, в результате чего в дательном-направительном падеже мы имеем дело с основой *ма-* и *са-*, к которой наращивается аффикс этого падежа *-ға, -ңа, -на*, ср. киргиз., хакас., шор., кумык., ногай. *ма-ға* 'мне, ко мне', *са-ға* 'тебе, к тебе', далее: уйгур., туркм. *ма-ңа, са-ңа*, каранм. *ма-йа, са-йа* (из *ма-ға. са-ға*), чув. *ма-на, са-на*, турец. *ба-на, са-на* — в том же значении.

В татарском литературном языке широкий задний гласный звук *a* сохранился в составе аффикса, и тем самым нарушился закон сингармонизма, ср. тат. *ми-ңа* 'мне, ко мне' и *си-ңа* 'тебе, к тебе', вместо ожидаемого *ми-ңә*, *си-ңә* (см. об этом ниже). В казахском и каракалпакском языках к форме дательного-направительного падежа наращивался еще формант *-н*, ср.: казах. и каракалп. *ма-ға-н* 'мне, ко мне' и *са-ға-н* 'тебе, к тебе'. Это, очевидно, произошло, чтобы придать форме дательного-направительного падежа в какой-то мере значение определенности, так как формант *-н* является показателем определенности и поэтому выступает в функции аффикса винительного определенного падежа.

В монгольских языках у личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного числа узкий гласный звук *и* заменяется широким гласным *a* во всех косвенных падежах, кроме родительного (в чувашском — во всех косвенных падежах); ср.: бурят. *иш*, халха-монг. *чи* 'ты'; основа всех других падежей (кроме родительного) — *ша-*, *ча-*; ср.: бурят. *ша-м-да*, халха-монг. *ча-м-д* 'тебе, к тебе' и т. д.

Тот факт, что в большинстве тюркских языков личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа только в дательном-направительном падеже заменяют узкий передний гласный звук широким заднерядным (примеры см. выше), дает основание говорить, что направительный падеж также связан с неопределенностью. На это указывает еще то обстоятельство, что, во-первых, в северных тюркских языках имеется неопределенный (безаффиксальный) направительный падеж; ср. тат. *Аны элек Себер жибергәннәр* 'Его раньше в Сибирь сослали' (вместо *Себер-гә*), или башк. разг. *Мин иртәгә Сибай барам* 'Я завтра поеду в Сибай' (вместо *Сибай-ға*); во-вторых, в тувинском языке общетюркский дательный-направительный падеж на *га*, как правило, употребляется в значении местного падежа с глаголом будущего и прошедшего неопределенного (неочевидного) времени; ср. тувин. *Мен Кызыл-га чурттап мен* 'Я буду жить в Кызыле', далее: *Мен Кызыл-га чурттап турган мен* 'Я жил в Кызыле' (33— стр. 128). Но с глаголом настоящего времени употребляется общетюркский местный падеж на *-да*, ср.: *Мен Кызыл-да чурттап тур мен* 'Я живу (в данный момент) в Кызыле'. Таким образом, этот загадочный на первый взгляд случай в ту-

винском языке сравнительно легко можно разгадать с позиции теории определенности и неопределенности.

Характерно, что двоякая основа личных местоимений свойственна также и некоторым финно-угорским языкам. Это особенно ярко выражено в прибалтийско-финских и частично в пермских группах. Причем в первой, т. е. в прибалтийско-финской группе, так называемые краткие и полные формы личных местоимений также образуются заменой переднего узкого гласного широким заднерядным гласным, ср.: эст. *mina—ma* 'я', *sina—sa* 'ты', *tema—ta* 'он', *netad—nad* 'они' и т. д. Причем полная форма личных местоимений употребляется тогда, когда логическое ударение падает на местоимение; если же логическое ударение падает на какой-либо другой член предложения, употребляется краткая форма (74—стр. 135); ср.: эст. *Mina* *soidan* *homme linna* 'Я (а не другой) поеду завтра в город' и *ma soidan* *homme linna* 'Я завтра (а не сегодня) поеду в город'. В приведенных примерах полную форму личных местоимений следует рассматривать как определенную, а краткую — как неопределенную, так как логическое ударение связано с определенностью.

То, что краткие формы приведенных выше личных местоимений с широким гласным *a* являются неопределенными, видно еще из фактов марийского и чувашского языков, в которых полная или определенная форма личных местоимений образуется путем присоединения форманта *-e* (*-э*), ср. мар. *мый* — *мый-е* 'я', чув. *эп* — *эп-е* 'я', *эс* — *эс-е* 'ты' и т. д. Причем в марийской и чувашской разговорной речи полная форма употребляется с логическим ударением, а краткая форма — без логического ударения на местоимении, т. е. точно так же, как в эстонском; ср. мар. *мый-е эрла олаш каем*, чув. *хулана ыран эпэ каяп* 'Я (а не другой) поеду завтра в город', но ср. мар. *мый эрла олаш каем* и чув. *эп хулана ыран каяп* 'Я еду завтра в город (а не сегодня)'. Заметим, что элемент *-e* на исходе чувашского и марийского личного местоимения является показателем определенности, поэтому это *-e* закономерно выступает в функции аффикса винительного определенного падежа в удмуртском языке у имен с притяжательными аффиксами, ср. удм. *ныл-м-е* 'мою дочь'.

В финском языке краткие (неопределенные) формы личных местоимений преимущественно употребляются в

поэзии (91— стр. 126). В коми-зырянском и коми-пермяцком языках краткая или неопределенная форма личных местоимений, как правило, употребляется в конструкциях с послелогом; ср.: коми-зыр. *сы керка сайын* 'за его домом', коми-перм. *ны вылет* 'по ним' и т. д. Это является также закономерным, ибо в подобных конструкциях неличное местоимение главное, а послелог, который указывает на пространственные и другие отношения, имеет второстепенное значение.

Поскольку дательно-направительный падеж выражает неопределенность, то в некоторых тюркских языках к форме дательно-направительного падежа личных местоимений единственного числа закономерно наращивается показатель множественности-неопределенности *-р*, ср.: тат. *ми-ңа-р* 'мне, ко мне', *си-ңа-р* 'тебе, к тебе', *аңа-р* 'ему, к нему'. То же самое следует сказать и о дательноместном падеже на *-дур* в классическом монгольском языке XIII века и в некоторых современных монгольских языках, в которых к аффиксу дательного-местного падежа *-ду* закономерно наращивался показатель множественности-неопределенности *-р*, благодаря чему образовался новый, более сложный аффикс рассматриваемого падежа *-дур*, ср.: класс. монг. *мурин-дур* 'коню, к коню' (82— стр. 168).

В этой связи утверждение некоторых монголистов о том, что дательно-местный падеж на *-дур* (*-тур*) является более древним, а монгольские языки впоследствии утратили это *-р* (82— стр. 166), вряд ли можно считать удовлетворительным и правомерным. На наш взгляд, более древним следует считать дательно-местный падеж на *-ду*, так как этот падеж является не только собственно монгольским, но в то же время и тунгусским, т. е. общемонголотунгусским; ср.: тунг. *бэе-ду* 'человеку', монгол. и монгольск. *морин-ду* 'коню, к коню', отсюда класс. монг. *мурин-дур* (82— стр. 168). Кстати, не все формы, зафиксированные в средневековом (классическом) монгольском языке XIII века и вообще в письменных памятниках, могут быть древними, ибо шесть-семь веков для истории языка не является слишком долгим периодом. В этой связи справедливой и вполне обоснованной следует считать точку зрения крупного тюрколога С. Е. Малова, который в своей хронологической классификации чувашский, якутский и желтоуйгурский языки, не имеющие древних письменных памятников, относит к древнейшим тюркским языкам

по сравнению с языком древнетюркских письменных памятников V—VIII веков (56—стр. 6—7). Так, например, в орхонских рунических письменных памятниках древнетюркского языка (VIII век) зафиксирована условная форма глагола на *-сар/-сэр*, ср. орх. *ал-сар* 'если возьмет', *кэл-сэр* 'если придет' (56—стр. 46). В современных тюркских языках условная форма имеет аффикс *-са/-сэ*, т. е. без форманта *-р*, ср.: общетюрк. *ал-са* 'если он возьмет'. Однако древнетюркская условная форма на *-сар* с точки зрения теории ОПНО вовсе не является древней, как это считают тюркологи (62—стр. 56; 13—стр. 40).

Как известно, форма условного наклонения, как и форма будущего времени, предполагает совершение действия в будущем при определенных условиях. Будет ли это условие — в момент речи остается еще неизвестным. Следовательно, условная форма глагола выражает неопределенность. Поэтому в древнетюркском языке к более древнему аффиксу условной формы *-са* наращивался показатель неопределенности *-р*, вследствие чего образовался новый, но более сложный аффикс этой формы *-сар* (*-сэр*). Об этом свидетельствует тот факт, что, во-первых, условная форма на *-са* характерна также и для отдельных угро-финских языков, например, для удмуртского; ср.: удм. *мон ветлы-сал* 'я ходил бы, если бы я ходил'. В удмуртском языке аффикс условной формы образовался путем нарастания показателя неопределенности (или множественности) *-л* на аффикс *-са*, как и в чувашском языке, в котором на аффикс *-са/-се* — другой показатель неопределенности *-н*; ср.: чув. *эсе кай-сан* 'Если ты пойдешь'. Во-вторых, в чувашском языке условная форма не имеет личных аффиксов, ср.: например, *эпе кай-сан*, *эсе кай-сан*, *въл кай-сан*, *эпир кай-сан* 'Если я (ты, он, они) пойду'. Кстати, и в удмуртском языке форма 1-го лица единственного числа условного наклонения не имеет личного аффикса, а в остальных лицах единственного числа личные аффиксы факультативны (71—стр. 211). В монгольских языках употребление личных аффиксов при условной форме также является факультативным, ср. бурят. *Минии ерэ-бэл, ши ябахаш* 'Если я приду, ты пойдешь'. Можно также сказать *Минии ерэ-бэл-ни...* (84—стр. 286—287). Аффикс условной формы в монгольских языках образовался путем нарастания показателя неопределенности к аффиксу прошед-

шего времени *-ба/-бэ*, ср.: бурят. *яба-ба* 'он пошел' и *яба-ба-л* 'если он пойдет' и т. д.

Вряд ли можно согласиться с мнением Г. Д. Санжеева о том, что аффикс дательного-местного падежа *-дур/-тур* (с фонетическими вариантами) находится в генетической связи с аффиксом дательного-местного падежа *-да/-та* и что «гласные являются местными вариантами одной и той же фонемы, которая произносилась различно в раннее время так же, как она произносится различно и теперь» (82—стр. 167). В порядке справки заметим, что дательного-местный падеж на *-да/-та* не является собственно монгольским, а одновременно и тюркским, т. е. тюрко-монгольским. Местный падеж на *-да/-та* зафиксирован также в древнетюркских письменных памятниках V—VIII веков (134—стр. 88; 56—стр. 27—33), т. е. за семь-восемь веков до того, как были созданы письменные памятники средневекового монгольского языка.

С фонетической точки зрения гласные звуки *а-у* (*э-ү*) в составе аффикса дательного-местного падежа *-дур/-дүр* и *да/-дэ* не могли быть «местными вариантами одной и той же фонемы», как это квалифицирует Г. Д. Санжеев. Такое утверждение теперь надо считать неудовлетворительным. В таком случае формант *-р* наращивался бы также и к аффиксу дательного-местного падежа *-да/-дэ*. Однако мы этого в монгольских языках не обнаруживаем; такого случая нет и в тюркских языках. Почему спрашивается? Потому что формант *-а/-э* как широкий гласный в составе аффикса *-да/-дэ* полностью выражал идею неопределенности. Поэтому формант *-а/-э* самостоятельно и в сращенном виде выступает в функции аффикса дательного, местного, направительного, продольного падежей в большинстве урало-алтайских языков. Кроме того, в тунгусских языках (например, в эвенкийском) формант *-а* является аффиксом винительного неопределенного падежа, закономерно выступающего также и в функции частичного падежа (партитива). В этой связи выясняется природа образования также и финского партитива, аффиксом которого является широкий гласный звук *а-ä*, ср.: фин. *minäluin kirja-a* 'я читал книгу'. Наряду с глаголом в отрицательной форме и с прямым дополнением во множественном числе финский партитив, как правило, употребляется также в конструкциях с послелогом и предлогом (91—стр. 80), как и неопределенная (краткая) форма некоторых личных место-

имений в пермских языках; ср.: фин. *talo-a kohti* 'к дому', *keskellä kylä-ä* 'посреди деревни' и т. д.

В других прибалтийско-финских языках, в частности в эстонском, показателем партитива является формант *-m*, восходящий к общефинно-угорскому аффиксу множественного числа, ср.: эст. *ta luges raamatu-t* 'он читал книгу', т. е. занимался чтением, но не прочитал. В собственно карельском языке партитив имеет аффикс *-da/-dэ* или *-ta/-тэ* (иногда *-э*), ср.: собственно карел. *анна муулла лей-би-э* 'дай мне хлеба' — не весь хлеб, а некоторую часть его, ср. еще: *пууда коргиэмби* 'выше дерева' (18—стр. 38—39). В данном случае общая структурная модель образования партитива в прибалтийско-финских языках не нарушена; во всех приведенных трех языках этот падеж образовался при помощи показателя неопределенности. Разница заключается только в том, что в финском и эстонском языках мы имеем дело с простой, а в карельском — со сложной структурной моделью, ибо аффикс карельского партитива в основном образовался в результате сращения аффиксов финского и эстонского партитива.

В других урало-алтайских, в частности в эвенкийском и якутском, партитив образовался по единой модели, действовавшей в прибалтийско-финских языках. В результате этого аффикс якутского партитива совпал даже с аффиксом этого же падежа в карельском языке, ср.: якут. *уу-та бас* 'начерпай воды' сколько-нибудь, *ат-та тут* 'поймай коня' — какого-нибудь (100—стр. 107).

Что касается эвенкийского языка, в котором функцию партитива закономерно выполняет винительный неопределенный падеж, то мы также обнаруживаем общность структурной модели: имена с согласным концом принимают аффиксы *-a/-э*, *-o* (финская модель), имена с гласным концом — *-йа*, *-йэ* (*-йо*), восходящие в свою очередь к его более древнему варианту *-га/-гэ*. Переход звука *г* в звук *й* (*j*) в окружении гласных, как известно, является общей закономерностью урало-алтайских языков; ср. эвенк. *му-йэ уңкурэн*, 'воды налил', *Букэл олло-йо* 'Дай рыбы' (46—стр. 92). То, что формант *-йа/-йэ* выступает в функции аффикса дательного-направительного падежа в хантыйском и огузско-тюркских языках наряду с аффиксом *-a/-э*, а более древний его вариант *-га/-гэ* (или *-ка/-кэ*) — в функции аффикса этого же падежа во всех других тюркских (и частично в марийском) и переместительного падежа

в мордовских языках, также является закономерным, поскольку эти падежи, как уже говорилось, тоже указывают на неопределенность.

В некоторых тюркских языках функцию партитива, выражающего неопределенную часть целого, выполняет исходный (отдалительный) падеж; ср. тувин. *шай-дан хайндыр* 'скипяти чаю', шор. *Палык-таң пыжыртып алдым* 'Я велел сварить рыбы', тат. *Жиләк-жимештән авыз итегез* 'Берите, попробуйте ягоды' (34— стр. 131—132). Из этого следует, что употребляющийся в функции партитива исходный падеж в тюркских языках тоже выражает понятие неопределенности. Это видно из того, что форма исходно-отдалительного падежа в большинстве урало-алтайских языков образовалась путем наращивания показателей множественности-неопределенности к форме местного или направительного падежа по единой структурной модели.

Как уже говорилось, неопределенным считается также прошедшее неочевидное время глагола. Поэтому в некоторых урало-алтайских языках, например в чувашском, эстонском и некоторых других, форма прошедшего неочевидного времени не имеет личных аффиксов, т. е. имеет чистую основу; ср. в чувашском *эпе вула-нъ, эсе вула-нъ, въл вула-нъ, эпир вула-нъ, эсир вула-нъ* 'я (ты, он, мы, вы) читал, оказывается'.

В эстонском языке неочевидное время глагола рассматривается как особое косвенное наклонение, и оно имеет также форму настоящего времени. Но форма как настоящего, так и прошедшего простого и сложного времен не имеет личных аффиксов, ср. эст. *ma luge-vat, sa luge-vat, ta luge-vat* 'я (ты, он) будто бы читаю', или *ma luge-nud, sa luge-nud, ta luge-nud* 'говорят, что я (ты, он) читал, будто бы читал' и т. д.

Может возникнуть вопрос, почему легшие в основу прошедшего времени причастия на *-nut, -nud, -и (-у)* в прибалтийско-финских, на *-н* в марийских, на *-м* в пермских и некоторых других финно-угорских, на *-ы (-ь)* в чувашском, на *-быт* в якутском, на *-н, -мыш-ган* в других тюркских, на *-чээ/-жээ (-ч/-ж)* в монгольских, на *-рка-ргу* в эвенкийском языках все же выражают неопределенность, или неочевидность, вероятность и предположение? Если внимательно всмотреться в приведенные аффиксы, то мы обнаружим, что в их составе имеются показатели множе-

ственного числа или собирательной множественности. Так, форманты *-t/-d*, *-и (-ы)* являются показателем множественного числа в прибалтийско-финских, мордовских, монгольских и якутском языках, формант *-н* — в восточных финно-угорских, *-ч*, *-р* — в тунгусо-маньчжурских языках, *-м* выступает в качестве аффикса собирательной множественности в тюркских и пермских, а *-ш* в тюркских языках и т. д. О связи идеи множественности с неопределенностью неоднократно говорилось уже выше.

Выше были изложены основные, но далеко не полные сведения о грамматической категории определенности и неопределенности в урало-алтайских языках, чтобы читатель имел общее понятие о сущности, своеобразии и многогранности этой категории. Разумеется, способы грамматического выражения категории определенности и неопределенности не ограничиваются только этим. Приведенные же данные мы попытались связать в одну общую логически взаимосвязанную цепь и тем самым создать аксиоматическую систему, которая могла бы служить прочным фундаментом для обоснования лингвистической теории определенности и неопределенности. Но этого в полной мере мы пока еще не достигли. Для этого необходимо осуществить как можно более широкий структурный анализ в свете теории ОПНО с учетом системности языка, чтобы привести «в движение» весь механизм грамматической структуры урало-алтайских языков, сочетая два плана — синхронный и диахронический, т. е. переходя от синхронии к диахронии. В. Матезиус еще в 1936 году по этому поводу писал, что «...всестороннее научное исследование языка возможно лишь на основе комбинации синхронного и диахронного методов» (60 — стр. 197). Только при таком условии все узлы грамматической структуры этих языков будут действовать автоматически, и раскрытие происхождения одной грамматической формы поможет выявить генезис другой, третьей и т. д. Только тогда теория определенности и неопределенности откроет нам путь для проникновения в сложный и загадочный мир формообразований в урало-алтайских языках. Для этого нам необходимо рассмотреть еще ряд вопросов, связанных с грамматической категорией определенности и неопределенности и с теорией ОПНО в целом.

§ 16. О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Теория ОПНО исходит из того, что в урало-алтайских языках грамматические формы возникли из тех форм, которые являлись или являются основами для выражения определенности или неопределенности. В связной речи слово с формой определенности или неопределенности вступает в различные лексико-грамматические отношения с другими словами, в результате чего форма определенности или неопределенности выражает разные грамматические отношения, в частности пространственные, временные, предикативные, притяжательные, количественные, отношения лица и т. д. и т. п. Так, показатель определенности *-ы/-и*, присоединяясь к имени с согласным на конце, во всех тюркских языках придает имени значение принадлежности 3-му лицу, ср.: общетюрк. *ат* 'конь' и *ат-ы* 'его конь'. Но в огузско-тюркских языках *ат-ы* воспринимается еще как форма винительного определенного падежа, ср.: азерб. *ат-ы сувардым* 'я напоил коня' (определенного).

В удмуртском языке показатель *-ы/-е*, присоединяясь к имени, придает ему значение принадлежности предмета 1-му лицу, ср.: удм. *йыр* 'голова' и *йыр-ы* 'моя голова'. В марийском языке показатель определенности *-м* является притяжательным аффиксом 1-го лица единственного числа и аффиксом винительного определенного падежа, ср.: мар. *корно* 'дорога', *корнем* 'моя дорога' и *корным* 'дорогу'.

В древнетюркском языке показатель *-ыг/-иг* является аффиксом винительного определенного падежа для имени с согласным на конце, напр. *ат-ыг* 'коня'; в тракайском (северном) диалекте караимского языка этот падеж лег в основу притяжательной формы 2-го лица единственного числа. При этом звук *г* на исходе закономерно перешел в звук *й* (*j*), ср.: караим. диал. *ат-ый* (<*ат-ыг*) 'твой конь'. В связи с этим выясняется и происхождение необычной для тюркских языков притяжательной формы 2-го лица единственного числа в чувашском языке, в котором данная притяжательная форма образовалась путем присоединения показателя определенности *-у* к любой основе имени, ср. чув. *тус-у* 'твой друг', *лаша* 'лошадь' и *лаш-у* 'твоя лошадь' и т. д. В свою очередь, показатель *-у* является аффиксом винительного падежа в эвенском языке, ср.: эвен.

окат (*a* — долгий) ‘река’ и *окат-у* ‘реку’, *дэл* ‘голова’ и *дэл-у* ‘голову’. Причем, в эвенском языке показатель *-у* выступает также и в функции притяжательного аффикса 1-го лица единственного числа у имен, оканчивающихся на согласные звуки (кроме *н*), ср.: эвен. *дэл-у* ‘моя голова’. Наличие одного общего показателя притяжательной формы 1-го лица единственного числа и винительного падежа свойственно, таким образом, эвенскому, марийскому, селькупскому и частично пермским языкам. Это не случайное явление, так как один и тот же показатель определенности может выполнять функции аффикса разных грамматических категорий.

С логической точки зрения все предметы и явления окружающей действительности в сознании людей, говорящих на том или другом языке урало-алтайской семьи, в древнейшие времена воспринимались в двух планах: 1) либо эти предметы и явления были известны, конкретны, знакомы им по опыту, близки в пространственном отношении и, следовательно, определены; 2) либо они были неизвестны, незнакомы, абстрактны, отдалены и находились вне поля их зрения и, таким образом, неопределены. Для того чтобы эти предметы и явления приобретали значение определенности и имена вступали в конкретные грамматические отношения, говорящий использовал те средства и способы, которые существовали в его языке, а именно: присоединение тех или других показателей определенности или неопределенности к словам, внутреннюю флексию, удлинение гласных и согласных в основе слова и т. д.

В урало-алтайских языках имена предметов и явлений получали значение определенности или неопределенности, главным образом, путем суффигирования показателей определенности или неопределенности. Однако для многих языков этой семьи не чужды и другие способы выражения определенности или неопределенности, о чем будет сказано в соответствующем месте данной книги.

В функции показателей определенности и неопределенности выступали все гласные и согласные фонемы, являющиеся смыслоразличительными и форморазличительными средствами языка. При помощи присоединения этих показателей к словам логическая категория определенности и неопределенности получала свое внешнее грамматическое оформление, благодаря чему в урало-алтайских языках возникли грамматические категории с разнообразными

грамматическими формами, которые выражали различные грамматические отношения. В то же время имя вступало в грамматические отношения и без присоединения показателей определенности. Это происходило, как правило, в тех случаях, когда имя (предмет или явление) выражало неопределенное множество предметов, отдаленные предметы, абстрактно-безличные понятия, действия в будущем, отсутствие того или другого предмета и т. д. и т. п.

С течением времени показатели ОПНО, некогда присоединявшиеся к имени и выражавшие те или другие грамматические отношения в языке, утрачивали свое бывшее значение определенности или неопределенности. Этому способствовало то обстоятельство, что племена, некогда говорившие на одном или близком диалекте, постоянно перемещались на другие территории и теряли следы былого единства, а в их языке постепенно происходили изменения. Но, несмотря на это, утратившие свое значение показатели определенности или неопределенности не выпадали и не исчезали бесследно, а оставались как бы припаянными к имени. В таких случаях на первый показатель определенности или неопределенности нарастал второй, третий и т. д. Так возникли сложные аффиксы различных грамматических категорий, состоящие из двух, трех или более органически сращенных элементов и являющиеся в современных урало-алтайских языках цельным комплексом.

Таков, в основном, механизм агглютинации в урало-алтайских языках. Поскольку присоединившиеся к именам показатели определенности или неопределенности состояли из гласных и согласных фонем (С—Г, Г—С, Г—С—Г, С—Г—С), которые оказывали влияние друг на друга в процессе артикуляции, то в аффиксах часто происходили фонетические изменения в соответствии с фонетическими законами того или другого языка. Некоторую роль в фонетическом изменении в аффиксах играли также их ударяемость или безударность.

Но так как показатели определенности и неопределенности, присоединяясь к имени, приобретали конкретное грамматическое значение, то показатели ОПНО, состоящие из гласных фонем, часто не подчинялись закону сингармонизма и превращались в устойчивый формант или аффикс, стоящий вне закона сингармонизма. Эти гласные — устойчивые показатели определенности — повлияли и на некоторые сложные аффиксы, в состав которых они входили.

Вследствие этого возникли несингармонические аффиксы, которые в конечном итоге привели к нарушению закона сингармонизма во многих урало-алтайских языках.

Так, в чувашском языке имена с согласным на конце, независимо от ряда гласных в основе, в притяжательной форме 3-го лица единственного числа имеют аффикс *-е* (орф. *е*), близкий к *э*; ср.: чув. *ывѣл* 'сын' и *ывѣл-е* 'его сын',

тир 'кожа' и *тир-е* 'его кожа' и т. д. Тот же самый несингармонический притяжательный аффикс 3-го лица *-е/-э* присоединяется и к глагольным основам, образуя форму 3-го лица; ср.: чув. *вѣл вул-е* 'он будет читать', *вѣл вулам-е* 'он не будет читать', *вѣл вулар-е* 'он читал'. То же самое произошло в чувашском аффиксе множественного числа *-сем*, который не подчиняется закону сингармонизма, ср.: чув. *лашасем* 'кони, лошади' и *эне-сем* 'коровы' и т. д.

Широкие гласные звуки *а/э* на исходе слова придавали предмету (имени) значение неопределенности. Поэтому эти широкие гласные заменялись узкими в тех случаях, когда была необходимость придать имени значение определенности, так как узкие гласные связаны с определенностью больше, чем широкие. Однако это явление характерно не для всех урало-алтайских языков. Но с точки зрения теории ОПНО это явление представляет большой интерес. Так, в чувашском языке в именах, оканчивающихся на широкие гласные *а, е (э)*, в притяжательной форме 3-го лица единственного числа широкие гласные переходят в узкое *и*, которое является показателем определенности: *лаша* 'лошадь' — *лаш-и* 'его лошадь', *ача* 'ребенок' — *ач-и* 'его ребенок', а в притяжательной форме 2-го лица единственного числа — узким гласным показателем определенности *-у*: *лаш-у* 'твоя лошадь', *ач-у* 'твой ребенок' и т. д.

Аналогичное явление характерно и для современного уйгурского языка, ср.: уйгур. *бала* 'ребенок', но *бали-си* 'его ребенок', *алма* 'яблоко' и *алми-си* 'его яблоко', далее: *алми-лар* 'яблоки', вместо ожидаемой формы *бала-сы*, *алма-сы*, *алма-лар* и т. д. Но в уйгурском языке притяжательный аффикс 3-го лица *-и* оказывает регрессивное влияние также на широкий гласный звук *-а* в корне слова, ср.: уйгур. *баш* 'голова' и *беш-и* 'его голова', *беш-им* 'моя голова', вместо ожидаемой формы *баш-и*, *баш-им* и т. д. Приведенные из уйгурского языка факты подтверждают, насколько устойчив показателем определенности *-и*

в аффиксе, стоящий не только вне сингармонизма, но и регулирующий им, воздействуя на корневой гласный звук слова. Это явление напоминает *и-умляют*, который имеет место в германских языках.

В бурятском языке имена с широкими гласными *а*, *э* в конце только в родительном и винительном падежах меняют их на узкое гласное *ы*. Это явление следует считать закономерным, так как родительный и винительный падежи выражают определенность; ср.: бурят. *аха* 'брат', *хада* 'гора', род. *ахы-н* 'брата', *хады-н* 'горы', винит. *ахы-е* 'брата' и *хады-е* 'гору' и т. д.

Аналогичное явление свойственно и башкирскому языку, в котором конечные широкие гласные *а*, *э* в терминах близкого родства при непосредственном обращении к лицу заменяются узкими гласными *ы*, *е*, ср.: башк. *атай* 'отец', *ағай* 'старший брат, дядя', *эсэй* 'мать', но *атый* 'отец! папа!', *ағый* 'дядя! старший брат!', *эсей* 'мать! мама!' и т. д.

Нарушение закона сингармонизма вследствие устойчивости показателей определенности и неопределенности больше всего характерно для уральских (финно-угорских и самодийских) языков. Это вполне естественно, так как в уральских языках даже в синхронном плане грамматическая категория определенности и неопределенности выражается более полно и рельефно, чем в алтайских. Так, в эстонском языке дательно-направительный падеж (аллатив) имеет во всех случаях аффикс *-le* (из *l-e*), ср.: эст. *lana-le* 'на стол' и *mehe-le* 'мужу, замуж', а родительный падеж множественного числа во всех случаях имеет аффикс *-e*, ср.: эст. *maja-d* 'дома' и *majad-e* 'домов' и т. д. Из финно-угорских языков сингармонизм в более полном виде сохранился в венгерском, финском, марийском и некоторых других языках. Что касается нарушения сингармонизма в узбекском литературном языке, то это произошло вследствие конвергенции гласных, т. е. по фонетическим причинам.

Таким образом, случаи нарушения сингармонизма в чувашском и большинстве уральских языков объясняются устойчивостью некоторых показателей определенности, присоединявшихся к имени, т. е. по морфологическим причинам, а не по фонетическим.

Для большинства уральских языков, в частности для обско-угорских, мордовских, эстонского, частично самодийских и некоторых других характерны простые аффик-

сы, состоящие только из одного элемента. Это особенно хорошо видно в их падежной системе, ср.: манс. *ус*, эрзян *ош* 'город' и соответственно *ус-н*, *ош-ов* 'в город'; далее манс. *ус-т* 'в городе', *апа* 'люлька' и *апа-л* 'люлькой' ср. еще: эрзян. *кудо* 'дом' и *кудо-с* 'в дом'; хант. *мис* 'корова' и *мис-а*, 'корове, на корову', *сяхыр* 'пастбище' и *сяхыр-н* 'на пастбище' (где?); эст. *таја* 'дом' и *таја-с* 'в доме', *таја-л* 'на доме', ср. еще: эст. *раамат-и*, фин *kirja-n* 'книгу и книги' (аккузатив-генитив). В большинстве уральских, а также у некоторых имен в монгольских и тунгусских языках форма множественного числа имен также образуется путем присоединения простых аффиксов, ср.: эрзян. *кудо-т*, эст. *таја-д*, фин. *talo-t* 'дома'; эвенк. и эвен. *дю* 'юрта' и *дю-л* 'юрты', эвенк. и эвен. *орон*, манс *сали* 'олень' и соответственно: *оро-р*, *сали-т* 'олени'; ср. бурят. *морин*, калм. *мори* 'лошадь' и соответственно *мори-д*, *морт-т* 'лошади' и т. д. В монгольских и тунгусо-маньчжурских языках форма множественного числа имен образуется также и при помощи сложных аффиксов, а в прибалтийско-финских языках показателем множественного числа в косвенных падежах имен, кроме аккузатива, выступают также аффиксы *-i* (*-и*), *-l* (*-л*).

В тюркских же языках нет случаев, когда множественное число имен образуется путем присоединения простых аффиксов. Но аффиксы множественного числа имен *-лар* и *-тар* (с фонетическими вариантами) или чувашское *-сем* в этих языках исторически представляют собой сращение простых показателей множественного числа всех других урало-алтайских языков; ср. примеры: общетюрк. *ата-лар* 'отцы'; казах. *бас-тар*, башк., кирг. *баш-тар* 'головы'; башк. *йыл-дар*, казах. *жыл-дар* 'годы'; чув. *ача* 'ребенок', *ача-сем* 'дети' и т. д.

Как видно из примеров, в тюркских языках по общей структурной модели к общеалтайской основе множественного числа или к основе неопределенности на *-л* (или *-т*) наращивается показатель неопределенности *-а*, затем только общеалтайский показатель множественности *-р*: *-л-а-р*, *-т-а-р*: *ата-л-а-р*, *таш-т-а-р*. Таким образом, тюркская структурная модель образования формы множественного числа почти не отличается от той же модели в эвенском языке, в котором у имен с согласным в конце, кроме артиклевых *-н*, форма множественного числа образуется от основы неопределенности на *-а*, к которой наращивает-

ся показатель множественности *-л*, ср.: эвен. *адал* 'сеть' и множественное число: *адал-а-л* 'сети', *цен* 'собака' и *цен-а-л* 'собаки' и т. д. Разница здесь заключается лишь в том, что в эвенском языке структурная модель образования формы множественного числа относительно простая, а в тюркских — более сложная. Однако более простая модель есть и в северокавказских тюркских языках; ср.: карач.-балк. *ата* 'отец' и *ата-ла* 'отцы', *адам* 'человек' и *адам-ла* 'люди'. Тот же самый аффикс характерен и для имен с пространственным значением в марийском языке; ср.: мар. *ола* 'город' и *ола-ла* 'города' или *олык* 'луг' и *алык-ла* 'луга' и т. д. Что касается другого аффикса множественного числа *-лак* в марийском языке, то он по своей структурной модели почти не отличается от общетюркского *-лар*: в марийском мы имеем дело с показателем множественного числа *-к*, как и в венгерском языке, в котором *-к* наращивается к основе на *-а*, ср.: венг. *ház* 'дом' и *ház-а-к* 'дома' (ср.: эвенская модель *адал-а-л* 'сети' и т. д.).

К показателям неопределенности относятся в первую очередь аффиксы множественности, так как множественное число выражает неопределенность. Это видно из фактов тунгусских (эвенкийского) и прибалтийско-финских языков, в которых имена во множественном числе, как прямое дополнение, могут стоять только в винительном неопределенном падеже. А в алтайских языках при множественном числе подлежащего сказуемое может стоять и в единственном числе. Это объясняется тем, что множественность связана с неопределенностью.

Кроме того, показателями неопределенности являются те элементы, которые, присоединяясь к слову, выражают неопределенность как в сфере имени, так и в сфере глагола, о чем будет изложено при рассмотрении вопроса о показателях и основах неопределенности.

Исторически более древними следует считать те формы, которые имеют простые аффиксы, состоящие только из одного, неделимого показателя определенности или неопределенности; ср. эрзян. *кудо* 'дом' и *кудо-т* 'дома'; бурят. и тунг. *морин* 'конь' и соответственно *морид*, *мори-р* (или *мори-л*) 'кони' и т. д. Что касается сложных аффиксов, то они образовались, как уже говорилось, путем нарастания одного показателя определенности или неопределенности на другой. Когда на первый показатель ОПНО нарастал

второй, третий и т. д., имя часто приобретало другое грамматическое значение. Отделившись от имен в результате морфологического разложения, сложные аффиксы как цельный комплекс впоследствии начали существовать отдельно, самостоятельно и присоединяться к любому имени независимо от того, на какой звук оканчивалось имя — на гласный или согласный.

§ 17. ОБ ОСНОВАХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Основа определенности образовалась путем наращивания к имени гласных или согласных показателей определенности, чтобы неопределенный предмет приобретал определенность. Основа определенности могла выступать как самостоятельно и выражать грамматические отношения, связанные со значением определенности, так и несамостоятельно, т. е. на эту основу могли нарастать другие показатели определенности. Основа определенности прежде всего имела значение винительного определенного и родительного определенного падежей, обладания, притяжательности, предикативности, единичности, очевидности, достоверности или уверенности в совершении действия, завершенности или однократности действия и т. д. и т. п.

С течением времени первичная основа определенности в одном из родственных языков могла сохранить свое значение определенности, а в другом — утратить его. В этом случае к первичной основе мог наращиваться другой показатель, и от первичной основы определенности образовывалась вторичная или даже третичная основа определенности. То же самое следует сказать и об основах неопределенности.

В урало-алтайских языках все грамматические формы образовались от основ определенности или неопределенности; вместе с тем та или другая основа определенности или неопределенности сама выражала те или другие грамматические отношения.

Сказанное можно проследить на примере эстонского языка, в котором форма родительного падежа (генитива) служит основой всех других падежей, кроме частичного падежа, или партитива, а также основой формы множественного числа именительного падежа (1— стр. 53). Здесь требуются некоторые разъяснения: в системе склонения

эстонского языка нет винительного определенного падежа. Но это еще не значит, что там вообще отсутствует этот падеж, выражающий определенный прямой объект. В эстонском языке функцию винительного определенного падежа (аккузатива) выполняет определенный родительный падеж (генитив). Ср. эст. *raamat* 'книга' и *raamat-u hind* 'цена книги', но *ma ostan raamat-u* 'я куплю книгу' или *ta ostis raamat-u* 'он купил книгу'; ср. еще: *laps-e raamat* 'книга ребенка', но *Ema kutsus laps-e tuppa* 'мать позвала ребенка в комнату' и т. д.

Исходя из примеров, эстонский генитив условно можно назвать генитив-аккузативом, или определенным родительно-винительным падежом. В эстонском языке форма этого падежа имеет аффиксы *-a/-u/-e/-i* (*a, u, e, i*), которые одновременно являются показателями определенности. Как уже говорилось, эстонский генитив-аккузатив служит основой определенности для всех остальных падежей, кроме частичного падежа (партитива), ср. эст. *raamat* 'книга', *raamat-u* 'книги и книгу', далее *raamat-u-s* 'в книге', *raamat-u-st* 'из книги', *raamat-u-l* 'на книге', *raamat-u-l-e* 'на книгу', *raamatu-lt* 'от книги', *raamatu-ga* 'с книгой' и т. д.

Сложнее обстоит дело с основой определенности, состоящей из гласного, в венгерском языке, в котором показатели определенности в некоторых именах могут совершенно отсутствовать, например, при образовании винительного падежа; ср. венг. *varom Antal-t* 'жду Антала', но ср. *látom a ház-a-t* 'я вижу дом' (определенный). У большинства имен с согласным на конце формы винительного падежа, множественного числа и форма притяжательности образуются при помощи гласных показателей определенности *-a/-o/-ő/-e* ср.: венг. *ház* 'дом', *ház-a-k* 'дома', *ház-a-t* 'дом' (вижу), *ház-a-m* 'мой дом', *ház-a-d* 'твой дом', или: *kéz* 'рука', *kez-e-t* 'руку', *kez-e-k* 'руки', *kez-e-i-m* 'моя рука'.

Исследователи венгерского языка считают, что в некоторых словах эти гласные звуки являются остатком старых основ, у которых отпали конечные гласные, в других же словах они имеют значение соединительного гласного между двумя согласными (53—стр. 106). Представители Пражской школы структурной лингвистики, на основе синхронного анализа венгерского языка, гласные *-a, -o, -e* в приведенных примерах также квалифицируют как

«соединительные гласные», вставленные для эвфонии (благозвучия), но с оговоркой, что нет возможности найти безукоризненное объяснение возникновению соединительных гласных (67— стр. 214).

Попытаемся выяснить природу и происхождение этих соединительных гласных. В притяжательной форме типа *ház-a* 'его дом' и *kõnuv-e* 'его книга' форманты *-a/-e* указывают на определенность. Это видно хотя бы из того, что в венгерском языке переходный глагол с прямым дополнением в притяжательной форме может стоять только в определенно-объектном спряжении.

В финском языке, который стоит в близком родстве с эстонским, основа определенности на *-a/-u/-ä/-e/-i* утратила свое былое значение определенности, и эта основа воспринимается как исходная форма имени в номинативе. Показатели определенности остались как бы припаянными к имени. Это объясняется тем, что в финском языке сохранился общепурано-алтайский показатель определенности *-n (-n)*, который служит там аффиксом как родительного, так и винительного определенного падежа; ср.: фин. *kirja-n hinta* 'цена книги' и *minä luin kirja-n* 'я прочитал книгу'.

Поскольку в эстонском языке исчез или не сохранился показатель определенности *-n (-n)*, то значение определенности стали нести гласные показатели *-a/-u/-e/-i*, присоединяясь преимущественно к именам с согласным на конце и образуя тем самым форму определенного генитива-аккузатива. Все это можно показать в виде сравнительной таблицы:

Эстонский язык	Номинатив	hind	leib	laul	järv	laps	kepp
	Генитив-аккузатив	hinn-a	leib-a	jaul-u	lärv-e	laps-e	kep-i
Финский язык	Номинатив	hint-a	leipä	laul-u	järvi	lapsi	keppi
	Генитив-аккузатив	hinta-n	leipä-n	lau-lu-n	järv-i-n	lapsi-n	keppi-n
Значение слов		цена	хлеб	песня	озеро	ребенок	палка

Как видно из приведенной таблицы, древняя основа определенности, действующая в эстонском языке, в финском утратила свое значение определенности и воспринимается как исходная форма слова, оканчивающегося на гласный звук.

В своей работе «Историческая фонетика финского-суоми языка» (1948) Д. В. Бубрих считал основу, оканчивающуюся на гласные звуки, изначальной, а основу на согласные звуки — вторичным явлением, образовавшимся в результате выпадения конечных гласных. При этом он возражал против школьной точки зрения, согласно которой основа имени на согласные звуки является первичной, а гласная основа образовалась позже для удобопроизносимости слов в формах склонения (19— стр. 41—42). Кстати, эта «школьная точка зрения», не ставившая своей целью объяснить исторические причины возникновения гласных основ, интуитивно правильно считала гласную основу вторичной. Поскольку Д. В. Бубрих рассматриваемое явление в финском и эстонском языках толковал в фонетическом плане, то в своей работе «Историческая морфология финского языка» (1955) он не рассматривал этого вопроса.

Рассмотрим теперь вопрос о том, как обстоит дело с основой определенности в других урало-алтайских языках, в которых основа определенности образуется не только при помощи гласных, но и посредством согласных показателей. Однако это обстоятельство несколько не нарушает общей структурной модели образования и развития грамматических форм.

Так, в северных (кипчакских) и восточных тюркских языках имена с притяжательным аффиксом 3-го лица типа общетюркского *ата-сы* 'его отец' и *ат-ы* 'его конь' в винительном определенном падеже принимают аффикс *-н*, ср.: казах., каракалп., тат., кирг. *атасы-н*, хакас. *адазы-н* 'его отца' и соответственно *аты-н/ады-н* 'его коня' и т. д. В южных тюркских языках (огузских и карлукских) аффикс *-н*, т. е. форма винительного падежа типа *атасы-н* и *аты-н*, утратил свое значение. Поскольку в этих языках, например в огузско-тюркских, у имен с согласным на конце форма винительного определенного падежа образуется при помощи аффикса *-ы/-и* (ср.: азерб. *даг-ы* 'гору' и *эл-и* 'руку'), то к форме винительного определенного падежа типа *атасы-н* 'его отца' и *аты-н* 'его коня' (вижу)

закономерно наращивается аффикс винительного падежа *-ы/-и*; ср.: туркм. *атасы-н-ы*, узб. *отаси-н-и* 'его отца' и соответственно *аты-н-ы/оти-н-и* 'его коня' и т. д.

Таким образом, севернотюркская форма винительного определенного падежа типа *атасы-н* 'его отца' служила основой для образования того же падежа в южнотюркских языках. Но это не простая основа, а основа определенности, поскольку она в северных тюркских языках является формой винительного определенного падежа. При этом неважно, образована ли эта основа при помощи гласного или согласного показателя определенности. Это не нарушает единства структурной модели.

Форма винительного определенного падежа типа *атасы-н* 'его отца' и *аты-н* 'его коня' служила основой определенности также и для дательно-направительного падежа в большинстве тюркских языков, кроме карлукско-тюркских (узбекского и уйгурского); ср. кипчак. и огуз. *атасы-н-а* 'его отцу, к его отцу', *аты-н-а* 'его коню, к его коню' и т. д. В узбекском и уйгурском языках этой форме соответствует форма типа *атаси-ға* 'его отцу' и *ати-ға* 'его коню'. В свою очередь, форма типа *атаси-ға* и *ати-ға* также образовалась от основы определенности типа *атасы-ғ* и *аты-ғ* путем наращения общеурало-алтайского лативного *-а/-э*. Однако в современных тюркских языках нет винительного определенного падежа на *-ғ/-г*, т. е. формы типа *атаси-ғ* и *ати-ғ*. Но винительный падеж на *-ғ/-г* регулярно встречается в памятниках древнетюркского языка V—VIII веков и имеется также в современном халхал-монгольском языке; ср. древнетюрк. (русскими буквами): *Экинти ышбара Ямтар боз аты-ғ бинип тэгди* 'Второй раз он (Кюль-Теген) бросился в схватку, оседлав его (Ямтара) белого коня'. При переводе, например, на казахский язык мы имели бы дело с формой «...*боз аты-н минип*» (оседлав его белого коня). Таким образом, обе эти формы винительного падежа служили основой определенности для дательно-направительного падежа: *аты-ғ + а* 'его коню, к его коню' — в карлукско-тюркских и *аты-на* 'его конь, к его коню' — в кипчакских и восточных тюркских языках.

Однако в древнетюркском языке показатель определенности *-ғ/-г* мог также непосредственно наращиваться к имени, когда имя не имело притяжательного аффикса 3-го лица, и образовывать форму винительного опреде-

ленного падежа; ср.: древнетюркское *ата* 'отец' и *ата-ғ* 'отца', *киси* 'человека' и *киси-г* 'человека' (56 — стр. 44). Поскольку форма винительного падежа типа *атасы-н* 'его отца' и *аты-н* 'его коня' по общей структурной модели могла служить основой определенности для дательного-направительного падежа, то и древнетюркская форма винительного падежа типа *ата-ғ* также служила основой определенности для этого же падежа, ср.: *ата-ғ + а* > общетюрк. *ата-ға* 'отцу', или: *киси-г + ә* < общетюрк. *киси-гә/киши-гә* 'человеку'.

В огузско-тюркских языках звук *ғ*, *г* в окружении гласных закономерно перешел в звук *й* (*j*), ср. туркм. *ата-йа* 'отцу', *гала-йа* 'в крепость, к крепости' и т. д. То же самое произошло и в хантыйском языке: звук *г* перешел в окружении гласных в звук *й* (*j*) в аффиксе дательного-направительного падежа, ср.: хант. *нөры* 'нары' и *нөры-йа* 'на нары' из более древнего *нөры-ғ-а*. Следовательно, в хантыйском языке для дательного-направительного падежа имен с гласным на конце также служила основа определенности на *-г* (или на *-й*), как и в тюркских языках. Кстати, хантыйский язык в отношении формы этого падежа занимает одинаковую позицию с огузско-тюркскими языками: имена с согласным на конце в дательном-направительном падеже принимают аффикс *-а/-ә* как в хантыйском, так и в огузско-тюркских языках, ср.: хант. *мис-а*, туркм. *сығыр-а* 'корове, на корову' и т. д. Что касается перехода звука *г* в звук *й* (*j*) в окружении гласных, то это фонетическое явление характерно для всех урало-алтайских языков.

Далее. В самодийских языках, в частности в селькупском, аффиксом винительного падежа служит показатель *-п* или *-м*. ср.: селькуп. *лока* 'лисица' и *лока-п* 'лисицу', *кыркы* 'медведь' и *кыркы-п* или *кыркы-м* 'медведя', *кана* 'собака' и *кана-м* или *кана-п* 'собаку' (73— стр. 400). В хантыйских диалектах, например в ваховском, аффикс винительного падежа *-п* также служил основой определенности для образования направительного падежа; ср.: хантыйское диалектное *йағ* 'люди' и *йаға-п-а* или *йағ-па* 'к людям', *пуғэл* 'деревня' и *пуғэла-п-а* 'в деревню', или *вонт* 'лес' и *вонта-п-а* 'в лес', *эңки-пә* 'к матери' и *эңкил-пә* 'к его, к своей матери' (93— стр. 44—45). Как видно из примеров, имена с согласным на конце перед аффиксом направительного падежа имеют еще основообразующий элемент *-а*, который также является показателем опре-

деленности и выступает в функции аффикса винительного определенного падежа в чувашском языке.

Однако в данном случае для нас важно то, что в ваховском диалекте хантыйского языка направительный падеж образовался от основы определенности на *-n*, как и в тюркских языках. Таким образом, общетюркская форма дательно-направительного падежа типа *ана-ға* 'к матери' и хантыйская диалектная форма направительного падежа типа *эңки-нэ* 'к матери' образовались по единой (или общей) структурной модели.

В этой связи особый интерес представляет происхождение формы направительного, т. е. вносительного падежа или иллатива, на *-ба/-бэ* (*-ва/-ве*) в венгерском языке. Поскольку венгерский язык относится к угорской группе финно-угорских языков и стоит в близком генетическом родстве с обско-угорскими языками, в частности с мансийским и хантыйским, то возникновение формы венгерского иллатива легко объяснимо: этот падеж также образовался от основы определенности на *-б* (из *-n*), как и в хантыйских диалектах; ср.: венг. *falu* 'деревня' и *falu-ba* (из *фалуу-б-а*) 'в деревню', *laktanya* 'казарма' и *laktanya-ba* 'в казарму', *varos* 'город' и *varos-ba* 'в город' и т. д. В венгерском языке у имен, оканчивающихся на гласный звук, при присоединении падежных и некоторых других аффиксов удлиняется конечный гласный, ср.: венг. *alma* 'яблоко' и *eszi az almat* 'он ест яблоко', или *almak* 'яблоки' и т. д. (Об удлинении конечных гласных в венгерском языке см. ниже.)

Как уже говорилось, в южных тюркских языках путем наращивания аффикса винительного падежа *-ы/-и* к более древней форме этого же падежа типа *атасы-н* 'его отца' и *аты-н* 'его коня' образовалась более новая форма винительного падежа типа *атасы-н-ы* 'его отца' и *аты-н-ы* 'его коня'. Показатель определенности *-ы/-и* наращивался также к древнетюркской форме винительного определенного падежа типа *ата-ғ* 'отца', *ана-ғ* 'мать' (вижу), и таким путем образовалась форма винительного определенного падежа имен, оканчивающихся на согласный, в турецком языке, ср.: турец. *баба* 'отец' и *баба-йы* (из *баба-ғ-ы*) 'отца', *ана-йы* 'мать' (вижу), из *ана-ғ-ы* и т. д.

По этой же структурной модели образовалась форма винительного определенного падежа в бурятском языке: к форме винительного падежа на *-ыг/-иг/-г* наращивался

показатель определенности *-ы/-и*, ср.: халха-монг. *гар* 'рука', *гар-ыг* 'руку' и бурят. *гар-ыйы* (из *гар-ыг-ы*) 'руку'; ср. еще: *ном-ыйы* (из *ном-ыг-ы*) 'книгу', орф. *номые* и т. д. При этом в бурятском языке звук *г* в окружении гласных перешел в звук *й* (*j*). Но в селенгинском диалекте бурятского языка звук *г* не переходит в звук *й* (*j*), ср.: *мори* 'конь' и *мори-ги* (из *мори-г-и*) 'коня', вместо ожидаемой формы *морийе* или *морие* (3— стр. 172). В бурятском языке гласный звук в составе аффикса винительного падежа сильно редуцирован.

Таким образом, в турецком у имен с гласным на конце и бурятском языках для образования винительного падежа служила основа определенности на *-г* ($>j$).

Характерно, что в халха-монгольском языке имена с согласным звуком на конце в винительном падеже имеют аффикс *-ыг/-ийг*, ср.: *гар-ыг* 'руку', *ном-ыг* 'книгу', *гэр-ийг* 'юрту' и т. д. Однако при наличии притяжательных местоимений как определения прямого дополнения аффикс *-г* опускается, ср.: халх.-монг.: *Гары минь аяархан ашгана уу?* 'Не жмешь ли ты мою руку' (97— стр. 63) или дословно: 'Руку мою тихонько жмешь ли?' В приведенном примере прямое дополнение, как ожидалось, должно бы иметь форму *гарыг минь* (руку мою). Однако формант *-г* опущен, так как притяжательное местоимение *минь* (мою) выражает определенность. Таким образом, здесь мы имеем дело с аффиксом винительного падежа *-ы/-и*, как и в огузско-тюркских языках, в которых имена с согласным на конце образуют форму винительного падежа тоже при помощи аффикса *-ы/-и*. Следовательно, в халха-монгольском языке для образования винительного падежа имен с согласным на конце служила основа определенности на *-ы/-и*, к которой впоследствии наращивался аффикс винительного падежа *-г*. Поскольку халха-монгольский язык в отношении формы винительного падежа занимает одинаковую позицию с древнетюркским, то с уверенностью можно сказать, что в древнетюркском языке основа определенности для винительного падежа также образовалась при помощи показателя *-ы/-и*, ср.: древнетюркское *каган* 'хан' и *каган-ыг* (из *каган-ы-г*) 'хана', *баш* 'голова' и *баш-ыг* (из *баш-ы-г*) 'голову', *эш* 'друг' и *эш-и-г* 'друга' и т. д. Основанием для такого суждения или толкования данного вопроса является наличие аффикса винительного падежа для имен с согласным на конце в огузско-тюркских языках.

Из приведенных примеров явствует также, что формант *-ы/-и* в составе аффикса винительного падежа *-ыг/иг/ -ийг* в древнетюркском и современном халха-монгольском языках исторически не является простым соединительным гласным.

Показатель определенности *-н*, как уже говорилось, образовал форму винительного определенного падежа у имен с притяжательным аффиксом 3-го лица только в кипчакско-тюркских и восточно-тюркских языках, и эта форма закономерно служила показателем определенности того же винительного падежа в южнотюркских языках, ср.: *атасы* 'его отец', *атасы-н* и *атасы-н-ы* 'его отца' и т. д. Однако этот же показатель (то есть *-н*) образовал основу определенности, непосредственно наращиваясь к именам с гласным звуком в конце так же, как и показатель *-г/-г*, после чего от этих основ по общей структурной модели путем присоединения форманта *-ы/-и* возникла форма винительного падежа, ср.: общетюрк. *ата-ны* (из *ата-н-ы*) и турецк. *баба-йы* (из *баба-г-ы*) 'отца', где в первом случае мы имеем дело с основой определенности на *-н*, а во втором — с основой на *-г/-г*. В северных и восточных тюркских языках у имен с согласным звуком на конце основа определенности образовалась при помощи аффикса *-т (-т)*, который является древним показателем винительного падежа, сохранившимся в современном венгерском, и в сращении с аффиксом *-ы/-и* употребляется в казахском, башкирском, киргизском и некоторых других языках, ср.: киргиз. *баш-ты*, казах. *бас-ты* 'голову' (из *баш-т-ы*).

В свою очередь, винительный падеж с аффиксом *-ны* и *-ты (>-ды)* как основа определенности в большинстве тюркских языков послужил базой для образования аффикса родительного (принадлежностного) падежа, который возник путем наращения форманта *-ң* (или *-н*) к аффиксу винительного падежа на *-ны* и *-ты*, ср.: общетюрк. *ата-ны* 'отца' (вижу) и далее: кипч. *ата-ны-ң китабы*, огуз. *ата-ны-н китабы* 'книга отца'. Такое толкование происхождения формы родительного падежа в тюркских языках на первый взгляд кажется даже невероятным. Но это подтверждается следующими примерами: так, в огузско-тюркских языках у имен с согласным звуком на конце винительный падеж образуется при помощи аффикса *-ы/-и*, ср.: азерб. и туркм. *китабы* 'книгу', *эл-и* 'руку' и далее : азерб. *китабы-н ады*, туркм. *китабы-ң*

ады 'название книги', или азерб. *эл-и-н бармагы* 'палец руки' и т. д.

Родительный падеж со сложным аффиксом *-ын/-ин/-ен* характерен не только для огузско-тюркских, но и чувашского, марийского и монгольских языков, ср.: чув. *ял-ын яче*, мар. *ял-ын лумжө* 'название деревни', или халха-монг. *ном-ын нэр* 'название книги' и т. д. Следовательно, и в этих языках форма родительного падежа образовалась от основы определенности на *-ы/-и*, к которой наращивался формант *-н* по общей структурной модели. Об этом свидетельствует еще тот факт, что форма родительного падежа на *-ы* есть в современном халха-монгольском языке, в котором формант *-ы* присоединяется к именам, оканчивающимся на *-н*, ср.: халха-монг. *дуун* 'песня' и *дуун-ы нэр* 'название песни', *оюутан* 'студент' и *оюутаны ном* 'книга студента', *морин* 'конь' и *морин-ы толгой* 'голова коня' и т. д., в карачаево-балкарском языке у имен с притяжательным аффиксом 1-го и 2-го лица единственного числа форма родительного падежа также имеет аффикс *-ы/-и*, ср.: *ата-м* 'мой отец' и *атам-ы китабы* 'книга моего отца', *ата-ң* 'твой отец' и *атаң-ы сөзлери* 'слова твоего отца', притяжательная форма имен 1-го и 2-го лица в винительном падеже также имеет аффикс *-ы/-и (-у/-ү)*, ср.: карач.-балк. *Бюгюн атаң-ы кёрдюм* 'Сегодня я видел твоего отца'. В карачаево-балкарском и кумыкском языках формы винительного и родительного падежей совпадают, как и в прибалтийско-финских и мордовских, поскольку эти два падежа выражают определенность, но в разных сферах.

В огузско-тюркских языках форма родительного падежа имен с согласным звуком на конце, образовавшаяся от винительного падежа, т. е. от основы определенности на *-ы/-и*, совпадает с притяжательной формой 2-го лица единственного числа, ср.: азерб. *китаб-ын сәһифәси*, туркм. *китаб-ың сахыпасы* 'страница книги', но азерб. (сенин) *китаб-ын*, туркм. (сенин) *китаб-ың* 'твоя книга' и т. д. Следовательно, в огузско-тюркских языках не только форма родительного падежа имен с согласным звуком на конце образовалась от основы определенности на *-ы/-и*, но и притяжательная форма 2-го лица единственного числа, ср.: азерб. и туркм. *китаб-ы* 'книгу' и далее соответственно *китаб-ы-н* и *китаб-ы-ң* 'твоя книга'. Притяжательная форма других лиц также характеризуется наличием основы определенности на *-ы/-и* не только в огузских, но и

Во всех тюркских языках; ср. общетюрк. *баш-ы-м* 'моя голова', *башы-ң* 'твоя голова', огуз. *башы-н* и *башы* 'его голова'.

В пермских, обско-угорских, марийских и тунгусских языках притяжательная форма единственного числа у имен с согласным звуком на конце также образовалась от основы определенности на *-ы/-и/-е/-у* по единой структурной модели, как и в тюркских языках, а в венгерском — от основы определенности на *-а/-е*.

Общетюркская притяжательная форма 3-го лица у имен с согласным на конце (например, *баш-ы* 'его голова' и *ши-и* 'его работа') в огузско-тюркских языках одновременно является формой винительного определенного падежа, ср.: огуз. *ат-ы* 'коня' и 'его коня', *ши-и* 'работу' и 'его работа'. В огузско-тюркских языках эти формы различаются только в контексте. О генетическом единстве аффикса *-ы/-и* в приведенных формах в свое время справедливо писал еще В. А. Богородицкий (15— стр. 156). Поэтому не подлежит сомнению, что форма типа *ат-ы* и *ши-и* является основой определенности для притяжательных форм всех лиц, и вопрос о так называемых соединительных гласных в приведенных формах отпадает, если подходить к этому вопросу с диахронической точки зрения.

Однако не только в огузско-тюркских, но и во многих других урало-алтайских языках притяжательные аффиксы единственного числа, будучи показателями определенности, составляют генетическое единство с аффиксом винительного определенного падежа, так как показатели определенности, присоединившиеся к имени, придавали ему значение определенности, которое воспринималось впоследствии либо как притяжательная форма лица, либо как форма падежа, связанного с определенностью. Но это невозможно обнаружить в одном и том же языке, и огузско-тюркские языки, в которых совпадает притяжательная форма 3-го лица имен с согласным звуком на конце и форма винительного падежа тех же имен, с одной стороны, и притяжательная форма 2-го лица единственного числа и форма родительного падежа — с другой, составляет в этом отношении исключение. То же самое следует сказать и о марийском языке, в котором совпадает форма винительного падежа (на *-м*) и притяжательная форма 1-го лица единственного числа.

Если мы говорим, что притяжательная форма 2-го лица единственного числа имен с согласным звуком на конце в огузско-тюркских языках, например *ат-ы-н* 'твой конь', образовалась от основы определенности типа *ат-ы* и в кипчакских и восточных тюркских языках формант *-н* в форме типа *ат-ы-н* 'его коня' является аффиксом винительного падежа, то мы должны утверждать, что формант *-н* в форме типа огуз. *ат-ы-н* 'твой конь', манс. *хап-ы-н* 'твоя лодка' или хант. *пөк-е-н* 'твой сын' исторически не является аффиксом собственно 2-го лица единственного числа, восходящим к личному местоимению того же лица, а является показателем определенности. Кстати, формант *-н* выступает в функции аффикса винительного определенного падежа не только в кипчакских, огузских и восточных тюркских, но и в финском, мордовских языках, а также в функции аффикса родительного падежа — в чувашском, якутском, монгольском, марийском и в тех же финском и мордовских языках, ср.: азерб. *китаб-ы-н сәһифәси* 'страница книги'. Если идти по такому пути объяснения происхождения притяжательных форм, то этимология притяжательной формы 2-го лица единственного числа в чувашском и тракайском (северном) диалекте караимского языка не представляет особых трудностей, ср. трак. *ат* 'конь' и *ат-ый* (из *ат-ы-й*) 'твой конь'. Звук *й* (*j*) на исходе этой формы, несомненно, восходит к звуку *ɣ*, *g*, и поэтому более древней следует считать форму *ат-ы-г*, которая является древнетюркской и халха-монгольской формой винительного определенного падежа, служившего, как уже говорилось, основой определенности для дательно-направительного падежа в карлукско-тюркских языках, ср.: уйгур. *ат-и-Ғ-а* 'его коню, к его коню' и т. д.

В чувашском языке притяжательная форма 2-го лица единственного числа имен любой основы имеет аффикс *-у/-ү*, который генетически не имеет ничего общего с личным местоимением того же лица и числа *эс* или *эсе* 'ты', ср.: чув. *лаша* (произн. *лажа*) 'лошадь' и *лаш-у* 'твоя лошадь', *тус* 'друг' и *тус-у* (произн. *тузу*) 'твой друг'. Формант *-у/-ү* в приведенной форме также является аффиксом винительного определенного падежа для имен с согласным звуком на конце (кроме *н*) в эвенском языке (ср. эвен. *окат* (*а*—долгий) 'река' и *акат-у* 'реку', *дэл* 'голова' и *дэл-у* 'голову'); у имен с гласным звуком на конце

В качестве показателя винительного падежа выступает аффикс *-в* (ср. эвен. *куңа* (*а*—долгий) ‘ребенок’ и *куңа-в* ‘ребенка’, *турки* ‘нарта’ и *турки-в* ‘нарту’ и т. д.). В эвенском языке форманты *-у* и *-в* являются также притяжательными аффиксами 1-го лица единственного числа, ср.: эвен. *дэл-у* ‘моя голова’, *турки-в* ‘моя нарта’ и т. д. (Марийская модель).

В эвенкийском языке формант *-в* также выступает в функции притяжательного аффикса 1-го лица единственного числа для всех имен, кроме имени с *-н* на конце; ср.: эвенк. *дю-в* ‘моя юрта’, *толгоки* (конечный *и* — долгий) ‘нарта’ и *толгоки-в* ‘моя нарта’ и т. д. Путем наращивания аффикса *-а/-э/-о* к форме типа *толгоки-в* образовалась форма винительного определенного падежа; ср. эвенк. *толгоки-ва* ‘нарту’ и *толгоки-ва-в* ‘мою нарту’, *урэ-вэ* ‘гору’ и *урэ-вэ-в* ‘мою гору’ и т. д. Таким образом, форма эвенкийского винительного падежа, являющаяся одновременно притяжательной формой 1-го лица единственного числа в тунгусских языках, служила основой определенности для образования винительного определенного падежа в эвенкийском языке. В эвенкийских диалектах этот падеж имеет также аффиксы *-ба/-бэ/-бо* и *-на/-нэ*, ср.: *Айал-ба оро-бо ичэчс-то?* ‘Видел ли (ты) хороших оленей?’ (78—стр. 19—20). Следовательно, мы должны говорить о сохранившейся в эвенкийских диалектах более древней основе определенности на *-б* (из *-н*), к которой наращивался формант *-а/-э*. Показатель определенности *-б/-н* закономерно служит аффиксом винительного падежа, как уже говорилось, в селькупском языке, в котором *n* переходит часто в *m*, ср. селькуп. *лока-п* или *лока-м* ‘лисицу’. Кстати, *б* перешел в звук *m* также и в эвенском языке, в котором имена с *n*-овым концом закономерно образуют форму винительного падежа при помощи аффикса *-м*, ср. эвен. *орон* ‘олень’ и *оро-м* ‘олень’, *дукун* ‘письмо’ и винительное *дуку-м* и т. д. Не подлежит сомнению, что аффикс винительного падежа *-м* (из *-б/-н*) в эвенском, селькупском и марийском языках связан одной генетической цепью. Поскольку формант *-б* (из *-н*) как звук перешел также в звук *-в*, то вполне закономерно, что форманты *-б¹-н/-в¹-м* являются притяжательными аффиксами имен и личными аффиксами глаголов 1-го лица в большинстве урало-алтайских языков.

Что касается притяжательного аффикса 2-го лица *-ң* в большинстве тюркских языков (кроме огузских и киргизского), например *ат-ы-ң* 'твой конь', то он также является показателем определенности, который в бурятском языке, как уже говорилось, выполняет функцию суффицированного определенного артикля, ср.: бурят. *мори-ң* (орф. *морин*) 'конь', *мори-д* 'кони' и т. д.

§ 18. О ПРОСТОЙ ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Простая, или первичная, основа определенности образуется при помощи присоединения к слову простых, неделимых на гласные и согласные показателей. Как уже говорилось, после их присоединения слово, имевшее первоначально только лексическое значение, приобретает еще и различные грамматические значения. Так, общетюркское *кара* как лексическая единица имеет значение 'смотреть' и является основой глагола (и одновременно формой повелительного наклонения). С лексической точки зрения эта основа нейтральна. После присоединения показателя определенности *-ғ* этот нейтральный глагол приобрел конкретное значение имени (смотреть, буквально: рассмотрение), в результате чего в тувинском языке это отглагольное имя получило значение 'глаз' (*кара-к* или хакас. *харах* 'глаз').

Древнетюркское конечное *-ғ/-г* в кипчакско-тюркских языках перешло в неслоговое *-у* (*ω*), т. е. в звук, напоминающий белорусский *у*-краткий в слове «дзяржауа» или английское *ω* в слове *what*. Но предметно-именное значение этого слова сохранилось, ср.: древнетюрк. *кара-ғ* кипч. *кара-у* 'смотреть, присмотр'. Но древнетюркский звук, *ғ* (*g*) в середине и конце слова во многих тюркских языках перешел также и в звук *й* (*j*), например, *кара-ғ* > *кара-й*. При этом именное значение этого слова уже стерлось. Восстановилось его первоначальное глагольное значение. Но в отличие от первоначальной основы *кара* форма типа *кара-й* (из *кара-ғ*) не является нейтральной, а приобрела значение 3-го лица единственного числа настоящего времени, ср.: башк. *ул кара-й* 'он смотрит'. Таким образом, двоякое фонетическое изменение согласного показателя определенности *-ғ/-г* привело к дифференциации значения простой основы определенности. Форма типа *кара-й*, в свою очередь, стала основой определенности всех лиц настоящего времени; ср. башк:

единственное число:

- 1л. Мин кара-й-ым — я смотрю,
- 2л. Гин кара-й-һың — ты смотришь,
- 3л. Ул кара-й — он смотрит.

множественное число:

- 1л. Без кара-й-быз — мы смотрим,
- 2л. Һез кара-й-һығыз — вы смотрите,
- 3л. Улар кара-й (кара-й-зар) — они смотрят.

Глагол с согласным на конце типа *ал-* 'взять, брать' в северных тюркских языках приобретает значение 3-го лица единственного числа путем присоединения аффикса *-а/-э*, ср. башк. и тат. *ул ал-а* 'он берет'. Форма типа *ал-а* также служит основой всех лиц настоящего времени; ср.: башк. *мин ал-а-м* 'я беру', *һин ал-а-һын* 'ты берешь', *ул ал-а* 'он берет', *без ал-а-быз* 'мы берем' и т. д. Кстати, формант *-а* образует глагольную основу не только в тюркских, но и во многих других урало-алтайских языках. Этот формант имеет генетическое единство с лативным (пространственным) аффиксом *-а*. Поэтому в тюркских, монгольских и во многих финно-угорских языках при помощи форманта *-а* или в сращении с другими элементами образовалась целевая форма, ср.: якут. *кинигэ ыл-а кэл-бит*, башк. *китап ал-а килгән*, азерб. *китаб алмаг-а гэл-миш* 'он пришел взять (получить), чтобы получить книгу'.

Как видно из примеров, в азербайджанском языке путем присоединения форманта *-а/-э* к отглагольному имени типа *алмаг* (взятие) образовался целевой инфинитив типа *ал-мага*; формант *-г* на конце слова (*алмаг*) является показателем определенности, который является генетически единым с формантом *-г* в форме типа *кара-г* (сметр, при-сметр). В чувашском языке инфинитив на *-ма* образовался по единой структурной модели: к простой основе определенности типа *вула-м-* наращивался формант *-а*, ср.: чув. *вула-ма* 'читать, чтобы читать', например *хулана вулама кайре* 'он поехал в город учиться, чтобы учиться'. В южнотюркских языках к инфинитиву на *-ма* впоследствии наращивался формант *-г/-к*, который придавал глаголу значение отглагольного имени, ср.: азерб. *алма-г* 'взятие'.

Структурная модель образования инфинитива на *-ма/-мо* в мордовских и прибалтийско-финских языках не отличается от структуры чувашского инфинитива на *-ма*. Элемент

-м в составе аффикса *-ma/-mo* как показатель определенности выполняет функцию винительного определенного падежа, как и показатель *-F* в древнетюркском.

Но в мордовских языках есть также инфинитив на *-mo*, который образовался путем наращивания аффикса вносительного (направительного) падежа *-с* к первичной основе определенности на *-м*, ср.: мокшан. *мора-м-с* 'петь, чтобы петь' или эрзян. *моле-м-с* 'идти, чтобы идти' и т. д. Такая же структурная модель и в пермских языках: к основе определенности на *-н* наращивался аффикс входного (направительного) падежа *-ы*, ср.: удм. *ужы-н-ы* 'работать, чтобы работать'. Показатель определенности *-н* выступает как аффикс винительного определенного падежа в финском и мордовском языках. То, что формант *-ы* в удмуртском языке является аффиксом входного (направительного) падежа, отчетливо видно в именах во множественном числе, ср.: удм. *гуртэс* 'деревни' и *гуртэс-ы* 'в деревни' (куда?) и т. д. В венгерском языке структурная модель образования инфинитива на *-ni* одинакова с пермской моделью.

Таким образом, простая, или первичная, основа определенности приобретает значение той или иной грамматической формы либо без присоединения каких-либо других формантов, либо путем присоединения простого, отдельно существующего аффикса. При этом основа определенности остается простой. Так, общетюркская форма типа *ат-ы* 'его конь' как простая основа определенности имеет значение притяжательной формы 3-го лица, а в огузско-тюркских языках — еще и значение винительного определенного падежа. Эта основа является простой и тогда, когда в кипчакских и восточных тюркских языках к ней наращивается аффикс винительного падежа *-н*, например, *ат-ы-н* 'его коня'. Но когда в южнотюркских языках к форме типа *ат-ын* наращивается аффикс винительного падежа *-ы* для имен с согласным звуком на конце, например, азерб. и туркм. *ат-ын-ы* 'его коня', то *ат-ын* превращается в сложную основу определенности, так как здесь мы имеем дело с двумя показателями определенности (о сложных основах см. § 19).

Все изложенное (в § 17, 18) об основах определенности обобщенно дано в «Таблице основ определенности притяжательных форм». При этом взяты имена с согласным звуком на конце в притяжательной форме единственного числа, т. е. при одном обладателе и одним обладаемом. Звез-

дочкой помечены основы определенности и притяжательные аффиксы, выступающие в том или другом языке урало-алтайской семьи в функции аффикса винительного определенного падежа, показателя определенно-объектного спряжения переходных глаголов, а также суффицированного определенного артикля и т. д.

Объяснение к таблице 1. Общетюркский аффикс 2-го лица *-ң* выступает в функции суффицированного определенного артикля в бурятском языке.

2. Огузская форма определенности *-ы* (например в слове *баш-ы* 'его голова') одновременно является показателем винительного определенного падежа, а формант *-н* — аффиксом того же падежа у имен с притяжательным аффиксом в кипчакских и восточных тюркских языках.

3. (15). Чувашское и эвенское *-у* (в словах типа *тус-у* 'твой друг' и *дэл-у* 'моя голова') является аффиксом винительного падежа в том же эвенском языке.

4. Караимский (тракайский) аффикс *-й* в виде *-г* выступает как аффикс винительного определенного падежа в древнетюркском, древнеуйгурском и халха-монгольском языках.

5. Якутский притяжательный аффикс *-а/-э* в форме типа *ат-а* 'его конь' выступает как аффикс винительного определенного падежа в чувашском языке.

6. (13), (10). Формант *-а/-е* в венгерской притяжательной форме типа *ház-a* 'его дом', эрзянский аффикс *-зо* в форме типа *вазо-зо* 'его теленок' и мансийский аффикс *-е* в форме типа *хал-е* 'его люлька' выступают соответственно показателем определенно-объектного спряжения переходных глаголов.

7. Удмуртский притяжательный аффикс *-з* и коми-пермяцкий аффикс *-с* являются аффиксом винительного определенного падежа в этих языках.

8. Коми-пермяцкий аффикс *-ө/-ö* в форме типа *ки-ö* 'моя рука' также выступает как аффикс винительного определенного падежа у имен с притяжательными аффиксами, а формант *-т* выполняет функцию суффицированного определенного аффикса.

9. Марийский аффикс *-м* в форме типа *пөрт-ем* 'мой дом' также выступает как аффикс винительного падежа в том же марийском и селькупском языках.

10. (12). Мансийский диалектальный аффикс *-т* в форме типа *ло-э-т* 'его лошадь' является аффиксом вини-

Таблица основ определенности притяжательных форм

Языки	Основа слова (и значение)	Основа определенности для:			Притяжательные аффиксы		
		1-го лица	2-го лица	3-го лица	1-го лица	2-го лица	3-го лица
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Общепюрк.	баш (голова)	баш-ы-	баш-ы-	баш-ы	-м	-ң*	—
2. Огуз.	баш (голова)	баш-ы	баш-ы	баш-ы*	-м	-н*	—
3. Чув.	тус (друг)	ус-ь-	тус-у*	тус-е	-м	—	—
4. Караим.	ат (конь)	т-ы-	ат-ы-	ат-ы	-м	-й(-ғ*)	—
5. Якут.	ат (конь)	ат-ы-	ат-ы-	ат-а*	-м	-ң	—
6. Веаг.	haz (дом)	haz-a-	haz-a-	haz-a*	-ш	-d	—
7. Удм.	йыр (голова)	йыр-ы	йыр-ы-	йыр-ы-	—	-d	-э*
8. Коми-перм.	ки (рука)	ки-ө*	ки-ы-	ки-ы-	—	-т*	-с*
9. Мар.	пөрт (дом)	пөрт-е-	пөрт-е-	пөрт-	-м*	-д	-шө
10. Манс. лит.	хап (лолька)	хап-у-	хап-ы-	хап-е*	-м	-н	-е*
11. Манс. диал.	ло (лошадь)	ло-н-э-	ло-г-э-	ло-э-	-м	-н	-т*
12. Хант.	хот (дом)	хот-э-	хот-э-	хот-	-м	-н	-ль*
13. Эрзян.	ваз (теленок)	ваз-о-	ваз-о-	ваз-о	-м	-т*	-зо*
14. Эвенк.	бэр (лук)	бэр-и-	бэр-и-	бэр-и-	-в*	-с	-н*
15. Эвен.	гид (копье)	гид-у*	гид-ь-	гид-ь	—	-с	-н*
16. Селькуп.	лока (лисица)	лока-м(-п)	лока-л	лока-т	-м*(-п*)	-л	-т

тельного падежа в венгерском языке, а хантыйский *-л* в форме типа *хот-ль* 'его дом' — показателем определенно-объектного спряжения переходных глаголов в мансийском языке.

13. (8). Аффикс *-т* (*-тв*) в форме типа *вазо-т* выступает как суффиговый определенный артикль в эрзянском и мокшанском языках, как и в коми-пермяцком.

14. Эвенкийский аффикс *-в* в форме типа *бэри-в* 'мой лук' является показателем винительного падежа в эвенском языке.

15. Эвенский аффикс *-у* в форме типа *дэл-у* 'моя голова' выступает как показатель винительного падежа в том же эвенском, а также в чувашском языках, а тунгусский притяжательный аффикс 3-го лица *-н* в форме типа *бэри-н* 'его лук' закономерно является показателем винительного определенного падежа в северных (кипчакских) и восточных тюркских, в мордовском и финском языках.

16. В селькупском языке формант *-м/-п* выступает в функции притяжательного аффикса 1-го лица единственного числа и аффикса винительного падежа; притяжательный аффикс 2-го лица единственного числа *-л* является показателем определенно-объектного спряжения переходных глаголов при единственном числе объекта, формант *-т/-тэ* — показателем определенно-объектного спряжения 3-го лица при единственном и двойственном числе объекта. Как уже говорилось, формант *-т*, являющийся притяжательным аффиксом 3-го лица в мансийских диалектах, выступает в функции аффикса винительного падежа в венгерском языке.

§ 19. О СЛОЖНЫХ ОСНОВАХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Сложная, или осложненная, основа определенности представляет собой результат нарастания одного показателя определенности на другой, вследствие чего образовались ныне сложные аффиксы во всех урало-алтайских языках. Рассматривая вопрос о сложных основах определенности, мы одновременно сталкиваемся с механизмом агглютинации, свойственной упомянутой языковой семье.

Так, в коми-пермяцком языке форма типа *ки-ны-* (*ки* 'рука') является сложной основой для образования притяжательной формы для всех лиц множественного числа, ср. *ки-ны-м* 'наша рука', *ки-ны-т* 'ваша рука' и *ки-ны-с*

‘их рука’. В свою очередь, форма типа *ки-ны-т* и *ки-ныс* является сложной основой определенности для образования винительного падежа, ср.: *ки-ны-т-ø* ‘вашу руку’ и *ки-ныс-ø* ‘их руку’. Это вполне закономерно, так как, во-первых, в коми-пермяцком языке форманты *-т*, *-с* выступают в функции суффигового определенного артикля, во-вторых, формант *-с* — еще и в функции аффикса винительного падежа у имен с притяжательным аффиксом 1-го лица единственного и множественного числа, ср.: *ки-ø* ‘моя рука’ и *ки-ø-с* ‘мою руку’, *ки-ным* ‘наша рука’ и *ки-ным-ø-с* ‘нашу руку’.

Возникает вопрос, почему показатель определенности *-ø* не может служить аффиксом винительного падежа, присоединяясь к притяжательной форме 1-го лица множественного числа типа *ки-ным* ‘наша рука’, хотя формант *-ø* и является аффиксом винительного падежа для притяжательной формы 1-го и 2-го лица множественного числа. Ответить на этот вопрос нетрудно: в отличие от формантов *-т*, *-с* (в пермских языках, в том числе и в коми-пермяцком) формант *-м* никогда не выступает в функции суффигового определенного артикля или аффикса винительного падежа. Поэтому для того, чтобы поставить форму типа *ки-ным* ‘наша рука’ в винительном падеже, необходим основообразующий показатель определенности, в роли которого закономерно выступает показатель определенности *-ø*, являющийся аффиксом винительного падежа; ср.: коми-перм. *ки-ным-ø-с* ‘нашу руку’, где *ки-ным-е* является осложненной основой определенности, к которой наращивался аффикс винительного падежа *-с*.

В удмуртском языке притяжательная форма 1-го лица единственного числа имеет аффиксы *-ы/-э/-е*, ср.: удм. *ки-ы* ‘моя рука’, *гурт-э* ‘моя деревня’ или *зи-е* ‘мой товарищ’ и т. д. Приведенные формы закономерно служат основой определенности для притяжательной формы 2-го и 3-го лица единственного числа, ср.: *гурт-э-д* ‘твоя деревня’, *гурт-э-з* ‘его деревня’ и т. д. Но когда необходимо поставить эти притяжательные формы в винительном определенном падеже, они закономерно принимают притяжательный аффикс 1-го лица единственного числа *-э/-е*, ср.: удм. *гурт-м-е* ‘мою деревню’, *гурт-с-э* ‘его деревню’ или *пи-м-е* ‘моего сына’ и т. д. Форма типа *гурт-э*, *пи-ме* в свою очередь служит сложной основой для образования винительного падежа имен с притяжательным аффиксом во множествен-

ном числе (при множественном числе обладателя), ср. удм. *гур-тэ-с* 'нашу деревню', *пи-ме-с* 'нашего сына' и т. д.

В тюркских языках форма типа *ат-ы* 'его конь' является основой определенности для образования притяжательной формы во всех лицах (а в огузско-тюркских еще и формой винительного определенного падежа), ср.: общетюрк. *ат-ы-м* 'мой конь'. В огузско-тюркских языках от этой притяжательной формы винительный определенный падеж образуется путем присоединения того же аффикса *-ы/-и*, ср.: азерб. *ат-ы-м-ы* 'моего коня' или *эл-им-и* 'мою руку'. Эта форма является сложной основой определенности для 1-го лица множественного числа, ср.: южнотюрк. *ат-ы-м-ы-з* 'наш конь' или огуз. *эл-им-и-з* 'наша рука'.

Азербайджанская и турецкая форма типа *ат-ы-н* 'его конь' в кипчакских и восточных тюркских языках является винительным падежом, ср.: казах., башк., якут. *ат-ы-н* 'его коня'. В южных тюркских языках форма типа *ат-ын* является только сложной основой определенности для винительного падежа, ср.: южнотюрк. *ат-ын-ы* 'его коня'. В азербайджанском, турецком и гагаузском языках *ат-ын-ы* является сложной основой определенности для притяжательной формы 2-го лица множественного числа, например *ат-ын-ы-з* 'ваш конь'. В северных и восточных тюркских языках этой форме соответствует: в кумык. и тат. языках *ат-ыг-ы-з*, в ойрот. *ад-ыг-а-р*, якут. *ат-ыг-ы-т* 'ваш конь'. В приведенных формах формант *-г/-ыг* также является древнетюркским и халха-монгольским аффиксом винительного определенного падежа. В казахском, каракалпакском, туркменском (*ат-ың-ы-з*, в хакас. *ад-ың-а-р* 'ваш конь') формант *-ң* восходит к суффицированному определенному артиклю, как и в монгольских языках, в частности, в бурятском. Что же касается показателя *-а* в составе притяжательного аффикса, например, ойрот. *ад-ыг-а-р*, хакас. *ад-ың-а-р* 'ваш конь', то это *-а/-э* является притяжательным аффиксом 3-го лица для имен с согласным на конце в якутском (например *ат-а* 'его конь') и аффиксом винительного определенного падежа в чувашском языке. При этом форманты *-з*, *-р*, *-т* представляют собой показатель множественного числа для притяжательных форм, как и формант *-н* в форме типа *ки-н-ы-м* 'наша рука' в коми-пермяцком и многих других финно-угорских языках. Однако наличие разных показателей множественности, лица и винительного определенного падежа

в рассматриваемых выше формах не меняет положения: структурная модель образования притяжательных форм остается единой независимо от того, имеем ли мы дело с простой или осложненной основой определенности для образования тех или других грамматических форм.

Так, в чувашском языке притяжательная форма 2-го лица единственного числа образовалась по общей структурной модели от простой основы определенности на *-ы/-ѳ*, к которой наращивался показатель множественности *-р*, ср.: чув. *тус* 'друг' и *тус-ѳ-р* 'ваш друг'. Аналогичное явление мы наблюдаем и в венгерском языке, ср. венг. *fal-a* 'его стена' и *fal-a-i* 'его стены' или *fal-u-n-k* 'наша стена', где после основообразующего показателя *-u/-y* следует показатель 1-го лица множественного числа, а затем показатель множественности *-к*; то же самое мы имеем и в мордовских языках, ср.: эрзян. *кудо* 'дом' и *кудо-н-о-к* 'наш дом', но *кудо-н-к* 'ваш дом' или *кудо-с-т* 'их дом', где *-с* является показателем 3-го лица, а формант *-т* — показателем множественности и т. д.

Характерно, что в селькупском языке притяжательным аффиксом 1-го лица единственного числа является формант *-м/-п*, который одновременно служит и аффиксом винительного падежа. При двойственном числе имени присоединяется аффикс *-мый/-мий*, восходящий к более древнему виду этого аффикса *-мыг/-миг*, где формант *-г* является показателем двойственного числа, ср.: селькуп. *лока-м* 'моя лисица', *лока-мый* (из *лока-м-ы-г*) 'мои две лисицы' и *лока-мыт* 'мои лисицы' (из *лока-м-ы-т*), где формант *-т* — показатель множественности. Но притяжательная форма 2-го лица единственного числа образуется путем присоединения форманта *-л* и *-лы*, ср.: селькуп. *лока-л* 'твоя лисица', далее к сложной основе определенности *лока-л-ы* наращивается показатель двойственного числа *-й* (из *-г*), например, *лока-л-ы-й* 'твои две лисицы' и показатель множественного числа *-т* или *-н*, например *лока-л-ы-т* или *лок-л-ы-н* 'твои лисицы' и т. д.

В заключение следует сказать, что отсутствие форманта *-м* в притяжательной форме 1-го лица единственного числа в коми-пермяцком и удмуртском языках (например коми-перм. *ки-ѳ*, удм. *ки-ы* 'моя рука', вместо ожидаемого *ки-ѳ-м* и *ки-ы-м*) некоторые ученые объясняют тем, что формант *-м* в притяжательной форме 1-го лица единственного числа выпал (71— стр. 84; 50— стр. 200).

Тогда возникает вопрос, почему формант *-ø* в коми пермяцком и формант *-ы/-э/-е* в удмуртском языках приобрели значение индивидуального обладания 1-го лица единственного числа? В чем же причина выпадения форманта *-м*? Ссылка на то, что формант *-м* появляется в форме некоторых падежей, не является веским аргументом. Так, в форме местного и входного (направительного) падежа типа удм. и коми-перм. *ки-а-м* 'в моей руке, в мою руку' или удм. *ки-ме* 'мою руку' и т. д. притяжательный аффикс 1-го лица единственного числа имеется потому, что здесь невозможно поставить притяжательный аффикс именительного падежа *-ы/-э/-е* и *-ø*. Если учесть то, что показатели определенности, как гласные, так и согласные, могут приобрести значение любого лица, то становится понятным, что в форме типа удм. *ки-ы*, коми-перм. *ки-ø* 'моя рука' форманта *-м* скорее всего никогда не было.

§ 20. ОБ ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ И О ДОЛГОТЕ КОНЕЧНЫХ ГЛАСНЫХ

Вопрос об основе определенности притяжательных и других грамматических форм в венгерском языке требует специального рассмотрения, так как при присоединении аффиксов различных грамматических категорий к именам с гласным на конце конечный гласный звук удлиняется, и в историческом плане мы сталкиваемся с некоторыми трудностями. Что касается основы определенности имен с согласным на конце, то она образовалась по общей структурной модели: к именам наращиваются сначала показатели определенности *-a/-e/-o*, а затем — аффиксы различных грамматических категорий: притяжательные, падежные, множественности и т. д.; сравните притяжательную форму имени *ház* 'дом':

Единственное число:

1 л. <i>ház-a-m</i> — мой дом	<i>ház-a-nk</i> — наш дом
2 л. <i>ház-a-d</i> — твой дом	<i>ház-a-t-ok</i> — ваш дом
3 л. <i>ház-a</i> — его дом	<i>ház-u-k</i> — их дом
и т. д.	

Как видно из приведенной парадигмы, во всех лицах основа образуется при помощи показателя определенности *-a/-e/-o*, который является притяжательным аффик-

сом 3-го лица единственного числа и признаком определенно-объектного спряжения переходных глаголов прошедшего времени. Как уже говорилось, в тюркских языках имеется такая же структурная модель образования притяжательных форм у имен с согласным на конце, где показатель определенности *-ы/-и* образует основу определенности, к которой наращиваются аффиксы лица: тат. *йорт* 'дом', *йорт-ы-м* 'мой дом', *йорт-ы-ң* 'твой дом', *йорт-ы* 'его дом', *йорт-ы-быз* 'наш дом' и т. д. В огузско-тюркских языках формант *-ы/-и-* — аффикс винительного определенного падежа имен с согласным на конце: азерб. и туркм. *баш-ы* 'голову'.

Некоторые языковеды, например К. Е. Майтинская, считают, что иногда в словах этот гласный звук является остатком отпавших конечных гласных старых основ, в других же словах он имеет значение только соединительного гласного между двумя согласными (53— стр. 106). В первом случае речь идет об основообразующем показателе определенности *-a* в формах множественного числа имен типа *ház-a-k* 'дома', *hid-a-k* 'мосты' и т. д.

Кстати, представители Пражской школы структурной лингвистики, рассматривая с синхронной точки зрения, гласные *-a/ e/-o* венгерского языка также квалифицируют в приведенных примерах как соединительные гласные, вставленные для эвфонии, но тут же оговариваются, что нет возможности найти безукоризненное объяснение возникновению соединительных гласных в венгерском языке (67— стр. 214). В общей системе образования грамматических форм в урало-алтайских языках характер или природа «соединительных гласных» *-a/-e* теперь постепенно выясняется; с исторической, или диахронической, точки зрения они не являются соединительными гласными, а представляют собой основообразующие гласные показатели определенности, как и гласные показатели определенности в большинстве других урало-алтайских языков.

В венгерском языке эти гласные показатели образуют основу определенности для множественного числа, винительного падежа и некоторых других форм, ср. *ház-a-k* 'дома', *kez-e-k* 'руки', *üst-ö-k* 'котлы' или *látom ház-a-t* 'я вижу (определенный) дом', т. е. *Ich sehe das Haus* и т. д.

Что касается имен с гласным на конце типа *szoba* 'комната' и *mese* 'сказка' и т. д., то в таких словах при наращивании притяжательных, падежных, словообразователь-

ных аффиксов и в форме множественного числа конечные краткие гласные *-a/-e* удлиняются, ср. венг. *szobá-m* (условно: *собаа-м*) 'моя комната', *szobá-t* 'комнату', *szobá-va* 'в комнату', или: *mesé-d* 'твоя сказка', *mesé-k* 'сказки' (мн. число) и т. д. Удлинение конечных гласных *a, e* в приведенных примерах К. Е. Майгинская объясняет тем, что имена, оканчивающиеся на краткий *a* или *e*, раньше оканчивались на долгие гласные (ср. венг. *fa* и фин. *puu* 'дерево'), которые и обнаруживаются перед более древними грамматическими окончаниями (в том числе перед показателем множественного числа) и словообразовательными и формообразующими суффиксами (53— стр. 105). Эту гипотезу можно допустить, хотя гласный звук *y* в марийском и удмуртском слове *пу* 'дерево' произносится кратко.

Но если приведенное выше венгерское слово *mesé* (сказка) считать собственно угорским и возводить его к хантыйскому *мось* (сказка), то получается следующая картина: палатализованный звук *s* (*сь*) на конце слова *мось*, по всей вероятности, восходит к сочетанию *си*, где гласный звук *и* произносился кратко. Об этом можно говорить уверенно потому, что гласный звук *o* в слове *мось* произносится долго в виде *моос*. Следовательно, гласный звук *e* на конце венгерского слова *mesé* (из *мооси*) исторически не был долгим. Мы не склонны возводить слово *mesé* к татарскому *мэзэк* 'забавная история'. В таком случае звук *e* в конце слова *mesé* был бы долгим, так как в венгерском языке сочетание гласных с согласными в конце слова дало долгий гласный звук, ср. венг. *ló* (*лоо*) 'лошадь', мансийск. *лув* или *лог*; венг. *só* (*соо*) 'слово', древнетюркск. *саб* или *сав* 'слово', венг. *tő* (*төө*) 'основание, корень', башк. *тәп* 'основание, корень' и *тәбә* (произносится *төвө*) 'его основание'. Одно из семи венгерских племенных названий *Jenő* (*йәнөө*) с долгим *ö* в конце восходит к мансийскому слову *йаныг* 'большой, великий'. Одно из башкирских племен также называется *әнәй* 'большое племя'. Это слово также восходит к мансийскому слову *йаныг*, где сочетание *ыг* дало дифтонг *эй*, как и в мансийских диалектах, ср. манс. диал. *йанэй* 'большой'. Следовательно, долгий гласный звук *ö* на исходе венгерского этнонима *Jenő* восходит к дифтонгу *эй* (из *иг*). В этой связи возникает еще другой вопрос: почему слова типа *ló* 'лошадь' и *só* 'слово' в именительном падеже сохранили конечную долготу, а слова типа *szoba* 'комната' и *mesé* 'сказка' не сохранили ее?

Кроме того, в венгерском языке много слов, общих с тюркскими языками или заимствованных из славянских языков. Среди них, разумеется, есть и слова, оканчивающиеся на гласный звук; ср. венг. *csóka* и башк. *səukə* ‘галка’, венг. *csébe* и башк. *шэбе* ‘катушка’, венг. *kepe* и башк. *күбә* ‘копна’, венг. *dara* ‘крупа’ и башк. *тары* ‘просо’, венг. *csibe* и тат. диал. *чебей* ‘цыпленок’, венг. *alma*, *balta* и общетюрк. *алма* ‘яблоко’, *балта* ‘топор’; ср. также венг. *szalma* ‘солома’, *széna* ‘сено’, *csuka* ‘щука’, *bolha* ‘блоха’ и т. д.

Конечные гласные приведенных общих слов в тюркских языках являются ударными, но не долгими. В славянских заимствованиях конечные гласные являются также краткими независимо от ударности или безударности конечных гласных в прототипе. Но тем не менее в венгерском языке все эти слова удлинняют конечные гласные, когда к ним наращиваются окончания различных грамматических категорий и некоторые словообразовательные аффиксы, ср. венг. *alma-k* (алмаа-к) ‘яблоки’, *eszi az almá-t* ‘он ест яблоко’ в значении *Er isst den Apfel*, или венг. *csoda* ‘чудо’ и *csodá-s* (чодаа-ш) ‘чудесный’, или *almá-s* (алмаа-ш) ‘яблочный, с яблоком’ и т. д.

Исходя из изложенного, можно заключить, что удлинение конечных гласных при присоединении различных аффиксов к именам с гласным на конце в венгерском языке не следует искать в древней долготе конечных гласных и рассматривать это удлинение как фонетическое явление. Удлинение конечных гласных при наращивании различных аффиксов к именам, оканчивающимся на гласный,

наш взгляд, надо искать в основообразующих гласных показателях определенности, которые присоединяются не только к именам с согласным на конце, например *ház* и *ház-a-t* ‘мой дом’ или *kez* и *kez-e-t* ‘руку’, но по аналогии или, вернее, строгой системе языка, также и к именам с гласным на конце. В результате этого к именам, оканчивающимся на гласные звуки, преимущественно на *a*, *e*, согласно гармонии гласных наращиваются те же гласные *a*, *e*, которые являются основообразующими показателями. Присоединяясь к именам с гласным на конце, гласные *a*, *e*, естественно, удлинняют конечные гласные, вследствие чего и возникают долгие гласные *á*, *é*, или условно *aa*, *ээ*. Более наглядно это можно показать в следующей таблице (для сравнения берутся и слова с согласными на конце):

Характер слова	Исходная основа	Грамматическая основа	Притяжательная форма 1-го лица	Форма винительного падежа	Форма множественного числа
С согласным на конце	hãz	hãza-	haz-a-m	haz-a-t	haz-a-k
	kèz	keze-	kez-e-m	kez-e-t	kez-e-k
С гласным на конце	szoba	szobã-	szoba-m-m	szoba-a-t	szoba-a-k
	mese	mesè-	mese-e-m	mese-e-t	mese-e-k

Аналогичное явление мы наблюдаем также и в пермских языках, когда у имен с гласным на конце грамматическая основа образуется при помощи гласных основообразующих показателей, которые не подчиняются закону небной и губной гармонии; ср.: коми-перм. *нывка* 'дочь' и *нывка-ы-т* 'твоя дочь', *нывка-ы-е* 'его дочь', *керку* 'дом', *керку-ы-т* 'его дом', *керку-э-э* 'дома', *пу* 'дерево' и *пу-э-э* 'деревья'; ср. удм. *корка* 'дом' и *корка-о-с* 'дома', *бусы* 'поле' и *бусы-о-с* 'поля', *писпу* 'дерево' и *писпу-о-с* 'деревья', *кизили* 'звезда' и *кизили-о-с* 'звезды'.

Как видно из примеров, в удмуртском языке показатель определенности *-o* в составе аффикса *-oc* превратился в устойчивый элемент, как и показатель *-o* в составе аффикса множественного числа *-ok* некоторых имен в венгерском языке, ср. венг. *virág* 'цветок' и *virág-o-k* 'цветки', *gyík* 'ящерица' и *gyík-o-k* 'ящерицы', *cél* 'цель' и *cél-o-k* 'цели' и т. д.

Приведенные выше факты не оставляют сомнения в том, что удлинение гласных звуков *a*, *e* у имен с гласным на конце в венгерском языке произошло вследствие наращивания гласных же показателей определенности к этим именам при присоединении аффиксов различных грамматических категорий (см. приведенную выше таблицу). То же самое следует сказать и об удлинении гласных звуков *o*, *õ* в составе аффиксов верхнеотдалительного падежа (делатива) — *nól* — *nõl*, исходного падежа (элатива) — *ból* — *bõl*, отдалительного падежа (аблатива) — *tól* — *tõl* и т. д.

§ 21. ОБ ОСНОВАХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В ряде урало-алтайских языков, в частности в огузско-тюркских, чувашском и некоторых финно-угорских языках, например в хантыйском и удмуртском, аффикс дательного-направительного падежа *-a/-ə* к именам с согласным на конце наращивается непосредственно без помощи каких-либо других основообразующих показателей, ср. туркм. и азерб. *базар-а*, чув. *пасар-а* 'на базар', хант. *мис-а* 'корова, на корову', или удм. *гурт-э* 'деревню', эст. *linn-a* 'в город' и т. д. Имена же с гласным на конце образовали форму этого падежа при помощи показателя определенности *-й* (из *-r*) в огузских и в хантыйском и *-н* — в чувашском языках, ср. азерб. и туркм. *гала-й-а* (из *гала-г-а*) 'в крепость', чув. *хула-на* (из *хула-н-а*) 'в город', хант. *нөры-й-а* (из *нөр-г-а*) 'на нарту, на койку' и т. д.

То же самое мы наблюдаем в форме винительного определенного падежа в огузско-тюркских, якутском, чувашском и винительного неопределенного падежа в эвенкийском языках, ср. огуз. и якут. *ат-ы* 'коня', чув. *арман-а* 'мельницу', эвенк. *авун* (*у-долгий*) 'шапка' и *авун-а* 'шапку', но общетюрк. *ата-н-ы*, якут. *аҕа-н-ы*, турец. *баба-й-ы* (из *баба-Ғ-ы*) 'отца', чув. *лаша-н-а* 'коня', эвенк. *моты* 'лось' и *моты-й-а* (из *моты-Ғ-а*) 'лося' и т. д.

Приведенные факты дают основание думать, что для некоторых падежных форм слова с согласным на конце выражали определенность, слова же с гласным на конце имели значение неопределенности. Поэтому к именам с гласным на конце в некоторых падежах сначала наращивались соответствующие согласные показатели, чтобы тем самым имя приобретало значение определенности, а затем к образовавшейся таким образом основе определенности наращивались аффиксы падежных или других грамматических форм.

Это видно также из того, что во многих урало-алтайских языках функцию показателей определенности выполняют притяжательные аффиксы, ср. общетюрк. *ата-м* 'мой отец' и *ата-м-а* 'моему отцу', хант. *хон-ем* 'моя лодка' и *хон-ем-а* 'в мою лодку, к моей лодке'. В общетюркской форме типа *ата-м-а* притяжательный аффикс *-м* выполняет ту же функцию, что и показатель определенности *-r/-г*, являющийся аффиксом винительного определенного падежа в древнетюркском и современном халха-монгольском языках; ср.

древнетюрк. *ата-г* 'отца' и далее общетюрк. *ата-г-а* < узг. *ата-й-а* 'отцу' и т. д.

Разумеется, слова с гласным на конце в приведенных выше примерах нельзя назвать основой неопределенности, так как они являются исходной основой слова и имеют самостоятельное значение. Основой же определенности могут служить только те основы, от которых образовались или могут образоваться формы, выражающие неопределенность. Как уже говорилось, в большинстве тюркских языков у личных местоимений единственного числа *мин/мен* 'я', *син/сен* 'ты' только в дательном-направительном падеже гласные звуки *и*, *е* изменяются в широкий гласный, а также при исчезновении элемента *-н*, ср. киргиз., хак. *ма-га* 'мне, ко мне', *са-га* 'тебе, к тебе' и т. д. То же самое мы обнаруживаем и в монгольских языках, ср. халха-монг. *чи*, бурят. *ши* 'ты' и далее соответственно: *ча-мд*, *ша-мда* 'тебе, к тебе, у тебя'. Но ни в одном из тюркских языков не существуют личные местоимения *ма* и *са* в значении 'я', 'ты'. В монгольских языках тоже нет местоимения *ча* или *ша* со значением 'ты'. Следовательно, в большинстве тюркских языков *ма-* и *са-* служат только основой для образования дательного-направительного падежа; причем она является основой неопределенности.

Это видно из того, что в прибалтийско-финских языках, например в эстонском, личные местоимения *mina* 'я', *sina* 'ты', *tema* 'он' тоже имеют форму *ma*, *sa*, *ta* в тех случаях, когда эти личные местоимения выражают идею неопределенности, т. е. когда на них не падает логическое ударение. Это связано с тем, что широкие гласные, в отличие от узких, в большинстве случаев выражают неопределенность. Кроме того, форма дательного-направительного падежа по своему значению связана с идеей неопределенности, так как в данном случае действие переносится на большое пространство, а начало этого действия неизвестно, потому что это начало грамматически не выражено.

Таким образом, самостоятельно существующие эстонские личные местоимения типа *ma* 'я' и *sa* 'ты' (*ma*, *sa*) в большинстве тюркских языков служат только основой неопределенности для дательного-направительного падежа. Поскольку дательный-направительный падеж выражает идею неопределенности, то в одних татарских диалектах к форме дательного-направительного падежа личных местоимений единственного числа наращивается показатель неопреде-

ленности *-р*, ср. *ми-ңа-р* 'мне, ко мне', *си-ңа-р* 'тебе, к тебе', а в других форма типа *миңар*, *сиңар* (или *миңэр*, *сиңэр*) служит основой неопределенности для того же дательно-направительного падежа, ср. тат. диал. *миңар-га* или *миңэр-гэ* 'мне, ко мне' и т. д.

Как уже говорилось, в форму множественного числа заложена также идея неопределенности. Поэтому в эвенкийском и прибалтийско-финских языках имена во множественном числе в качестве прямого дополнения могут стоять только в винительном неопределенном падеже.

Форма множественного числа в большинстве урало-алтайских языков образовалась путем нарастания одного показателя неопределенности на другой: первый показатель неопределенности-множественности с течением времени утрачивал значение множественности. Так, в тунгусских языках форма множественного числа образуется при помощи простых аффиксов *-р* и *-л*. Причем *-р* преимущественно присоединяется к именам с конечным неустойчивым *-н*, ср. эвенк. *мурин* и *мури-р* 'кони, лошади'; в остальных случаях — при помощи аффикса *-л*, ср. эвенк. и эвен. *дю* 'дом, юрта' и *дю-л* 'юрты, дома', ср. еще эвен. *куңа* (*а*-долгий) 'ребенок' и *куңа-л* 'дети', *адал* 'сеть' и *адал-а-л* 'сети' и т. д.

В алтайскую эпоху в тюркских языках аффикс множественного числа *-л* наращивался преимущественно к именам с гласным на конце, но аффикс *-л* с течением времени утратил свое значение множественности. Поэтому к основе на *-л* по общей структурной модели наращивался показатель неопределенности *-а/-э*, затем — другой тунгусский показатель множественного числа *-р*: общетюрк. *ата* 'отец', *ата-л*, далее — *ата-л-а*, наконец, *ата-л-а-р* 'отцы'. Причем *ата-ла* 'отцы' в карачаево-балкарском языке является формой множественного числа, но в остальных тюркских языках *ата-ла-*, *киши-лэ-* служит только основой неопределенности для образования формы множественного числа, например: *ата-ла-р* 'отцы' и *киши-лэ-р* 'люди' и т. д.

В монгольских языках отдельные слова образуют свою форму множественного числа при помощи аффикса *-с*, ср. старомонг. *нере* 'имя' и *нере-с* 'имена', *ордо* 'дворец' и *ордо-с* 'дворцы', *нохай* 'собака' и *ноха-с* 'собаки' (86 — стр. 54); ср. калм. *така* 'курица' и *така-с* 'курицы', *бөкүн* 'комар' и *бөкүн-с* 'комары' и т. д. В южных тунгусо-манчжурских языках аффикс *-с* образовал только основу

неопределенности для формы собирательной множественности, ср. маньч. *чжуй* 'сын' и *чжу-сэ* 'сыновья', *амбань* 'вельможа' и *амба-са* 'вельможи', *байань* 'богатый, богач' и *байа-са* 'богачи', *бэе* 'сам' и *бэе-сэ* 'сами' и т. д. (30— стр. 139, 143). Во многих других тунгусо-маньчжурских языках при помощи *-са/-сэ* образуется только основа неопределенности, к которой наращивается показатель множественности *-л* и образуется форма множественного числа, ср. нан. *най* 'человек' и *най-са-л* 'люди', *мо* 'дерево' и *мо-са-л* 'деревья', *дэрэ* 'стол' и *дэрэ-сэ-л* 'столы' и т. д. (2— стр. 133); ср. эвенк. *саман*, эвен. *хаман* 'шаман' и соответственно: *сама-са-л*, *хама-са-л* 'шаманы', эвенк. *байан* 'богач' и *байа-са-л* 'богачи' и т. д.

В чувашском языке форма множественного числа имен также образовалась от основы неопределенности на *-са/-сэ* путем наращивания показателя собирательной множественности *-м*, вследствие чего возник необычный для остальных тюркских языков аффикс множественного числа *-сам/-сэм*, но в чувашском литературном языке установился только вариант *-сэм* (орфографическое *-сем*), а в диалектах — *-сам/-сэм* и *-зам/-зэм*, ср. чув. лит. *лаша-сем*, чув. диал. *лажа-зам* 'лошади' (104— стр. 159). Однако в притяжательном, винительном определенном (и дательном), местном, исходном падежах множественного числа показатель множественности *-м* опускается, ср. чув. лит. *хула-се-н-че* 'в городах', *хула-се-н-е* 'городам, в города' и т. д. Таким образом, для перечисленных падежей в чувашском языке показателем множественного числа служит только аффикс *-се* (в диалектах *-са*). Иными словами, форма типа *хула-се-* фактически является основой неопределенности как для падежных форм, так и для образования формы множественного числа в чувашском языке.

Исходя из того, что в падежных формах в чувашском языке образуется аффикс *-сен/-сан*, многие ученые ошибочно возводят чувашский аффикс множественного числа к тюркскому самостоятельному слову *сайын* 'каждый', например: *кун сайын* 'каждый день' (75— стр. 61). Чувашский аффикс множественного числа *-сем/-сам* или *-сен/-сан* генетически ничего общего не имеет с тюркским словом *сайын* 'каждый' и *сан* 'число', так как формант *-н*, наращиваясь к основе неопределенности на *-се*, образует основу определенности (например, *лаша-се-н-*) для некоторых косвенных падежей по общей структурной модели.

В свою очередь, чувашский аффикс множественного числа *-сем*, диал. *-сам* в виде *-шам*, служил основой неопределенности и для образования множественного числа в луговом диалекте марийского языка, в котором к основе на *-шам* наращивался показатель множественности *-ч/-ыч*, ср. мар. диал. *пөрт* 'дом' и *пөрт-шам-ыч* 'дома'. Однако в марийских диалектах показатель множественности *-ч > -ц* наращивается также и к основе неопределенности на *-ша* (из *-са*), ср. мар. диал. *пөрт-ша-ч* или *пөрт-ша-ц* 'дома' (23— стр. 61). Вполне допустимо, что формант *-ч* в приведенных формах множественного числа восходит к общефинно-угорскому показателю множественного числа *-т (-t)*. Это видно хотя бы из того, что аффикс *-т*, наращиваясь к основе неопределенности на *-м/-мы*, в марийском языке образует форму собирательной множественности, ср. мар. *ава* 'мать' и *ава-м-ы-т* 'моя мать и другие', *Иван-м-ы-т* 'Иван и другие, т. е. Иван и его товарищи' и т. д.

Генетическую связь марийского диалектального показателя множественного числа *-шам-ыч* и *-шач* с чувашским *-сам/-сем* и *-са* (из маньчж. *-са*) следует считать реальной. В этом вопросе нужно согласиться с марийскими языковедами, которые связывают марийское *-шамыч* с чувашским аффиксом множественного числа *-сам* (чув. лит. *-сем*) (70— стр. 89; 23— стр. 65). Что касается форманта *-м* в составе аффикса групповой множественности *-мыт*, то *-м* вряд ли был здесь когда-то притяжательным аффиксом 1-го лица единственного числа, как это утверждают некоторые марийские языковеды (23). В этой связи возникает вопрос, почему в восточном диалекте форма групповой множественности имеет аффикс *-влак*, например, *изай-влак* 'старший брат и его семья (его друзья)', а в горном диалекте — аффикс *-влэ*, например, *этя-влэ* 'отец и его друзья', *Иван-влэ* 'Иван и его друзья, его семья'. Формант *-м* в составе аффикса *-мыт* в сущности является тем же показателем множественности *-м*, который вошел в состав чувашского аффикса множественного числа *-сем/-сам* и марийского *-шамыч* (из *-шам-ыч*).

Что касается форм множественного числа на *-влак* в марийском литературном языке и на *-лак* в его восточном диалекте, то по общей структурной модели они возникли от основы неопределенности на *-вла/-влэ* и *-ла*, к которой наращивался аффикс множественного числа *-к* венгерского типа, т. е. *-вла-к* и *-ла-к*; в венгерском мы имеем простую

модель, ср. *haz* 'дом' и *haz-a-k* 'дома' и т. д. Возведение аффикса *-влак* к финскому самостоятельному слову *пулэ* 'много' в горно-марийском диалекте или к древнетюркскому слову *болэк/болук* 'группа, отряд, орда', как это делает Г. И. Рамстедт, следует считать нереальным (75 — стр. 61; 23— стр. 64).

В южных тунгусо-маньчжурских языках, например в ульчском и нанайском, есть аффикс групповой множественности *-на/-нэ*, присоединяющийся преимущественно к терминам родства, ср. нан. *ага* 'старший брат' и *ага-на* 'старший брат и сопровождающие его лица', или *анда* 'друг' и *анда-на* 'друзья, товарищи' (2— стр. 135), ульч. *ама* 'отец' и *ама-на* 'отцы' и т. д. Следовательно, здесь мы имеем дело с аффиксом множественности *-н*, к которому наращивался показатель неопределенности *-а* по общей структурной модели (*-с-а*, *-л-а*, *-т-а*). Но в монгольских языках аффикс *-на/-нэ* утратил свое значение групповой множественности и служил только основой неопределенности, к которой присоединялся общеалтайский показатель множественности *-р*, вследствие чего возник аффикс групповой множественности *-нар/-нэр* в монгольских языках; ср. халх-монг. *ах-нар* бурят. *аха-нар* 'старшие братья', далее соответственно *дүү-нар*, *дүү-нэр* 'младшие братья', *баши-нар*, *башиа-нар* 'учителя' и т. д. В бурятском языке к основе неопределенности наращивается также и показатель множественности *-д*, ср. бурят. *аха-над* 'старшие братья', *дүү-нэд* 'младшие братья', *эсэгэ* 'отец' и *эсэгэ-нэд* 'отцы' и т. д. (85— стр. 74).

Форма индивидуальной множественности в монгольских языках образуется при помощи аффикса *-д* у имен с конечным артиклевым *-н/-ң*; *-ууд* — у имен с твердым согласным на конце, *-нууд* — присоединяется к именам с гласным на конце и на *р*, *л*; ср. бурят. *хонин* 'овца' и *хони-д* 'овцы', *худаг* 'колодец' и *худаг-ууд* 'колодцы', *тала* 'степь' и *тала-нууд* 'степи', *арал* 'остров' и *арал-нууд* 'острова' и т. д.

Что касается элемента *-у* (или *-уу*) в составе аффиксов *-ууд* и *-нууд*, то это *-у* восходит к показателю неопределенности в тунгусо-маньчжурских языках, в которых *-у* является показателем множественности только в личных местоимениях, ср. общетунгусо-маньч. *би* 'я', *си* 'ты' и *бу* 'мы', *су* 'вы'.

модель, ср. *haz* 'дом' и *haz-a-k* 'дома' и т. д. Возведение аффикса *-лак* к финскому самостоятельному слову *пулэ* 'много' в горно-марийском диалекте или к древнетюркскому слову *бөлэк/бөлүк* 'группа, отряд, орда', как это делает Г. И. Рамстедт, следует считать нереальным (75 — стр. 61; 23 — стр. 64).

В южных тунгусо-маньчжурских языках, например в ульчском и нанайском, есть аффикс групповой множественности *-на/-нэ*, присоединяющийся преимущественно к терминам родства, ср. нан. *ага* 'старший брат' и *ага-на* 'старший брат и сопровождающие его лица', или *анда* 'друг' и *анда-на* 'друзья, товарищи' (2 — стр. 135), ульч. *ама* 'отец' и *ама-на* 'отцы' и т. д. Следовательно, здесь мы имеем дело с аффиксом множественности *-н*, к которому наращивался показатель неопределенности *-а* по общей структурной модели (*-с-а*, *-л-а*, *-т-а*). Но в монгольских языках аффикс *-на/-нэ* утратил свое значение групповой множественности и служил только основой неопределенности, к которой присоединялся общеалтайский показатель множественности *-р*, вследствие чего возник аффикс групповой множественности *-нар/-нэр* в монгольских языках; ср. халх-монг. *ах-нар* бурят. *аха-нар* 'старшие братья', далее соответственно *дүү-нар*, *дүү-нэр* 'младшие братья', *багш-нар*, *багша-нар* 'учителя' и т. д. В бурятском языке к основе неопределенности наращивается также и показатель множественности *-д*, ср. бурят. *аха-над* 'старшие братья', *дүү-нэд* 'младшие братья', *эсэгэ* 'отец' и *эсэгэ-нэд* 'отцы' и т. д. (85 — стр. 74).

Форма индивидуальной множественности в монгольских языках образуется при помощи аффикса *-д* у имен с конечным артиклевым *-н/-ң*; *-ууд* — у имен с твердым согласным на конце, *-нууд* — присоединяется к именам с гласным на конце и на *р*, *л*; ср. бурят. *хонин* 'овца' и *хони-д* 'овцы', *худаг* 'колодец' и *худаг-ууд* 'колодцы', *тала* 'степь' и *тала-нууд* 'степи', *арал* 'остров' и *арал-нууд* 'острова' и т. д.

Что касается элемента *-у* (или *-уу*) в составе аффиксов *-ууд* и *-нууд*, то это *-у* восходит к показателю неопределенности в тунгусо-маньчжурских языках, в которых *-у* является показателем множественности только в личных местоимениях, ср. общетунгусо-маньч. *би* 'я', *си* 'ты' и *бу* 'мы', *су* 'вы'.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Абен К.* Учебник эстонского языка. Таллин, 1960.
2. *Аврорин В. А.* Грамматика нанайского языка, т. 1. М.—Л., 1959.
3. *Алексеев Д. А.* Диалекты бурят-монгольского языка. Уч. зап. ЛГУ. Серия востоковедческих наук, вып. 1. Л., 1949.
4. *Амоголонов Д. Д.* Современный бурятский язык. Улан-Удэ, 1958.
5. *Апресян Ю. Д.* Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.
6. *Аристе П.* Предисловие к книге Л. Хакулинена «Развитие и структура финского языка». М., 1953.
7. *Баландин А. Н.* и *Вахрушева М. П.* Краткие сведения о фонетике, графике и грамматике мансийского языка. Приложение к «Мансийско-русскому словарю». Л., 1958.
8. *Балишиа И.* Венгерский язык. М., 1951.
9. *Баскаков Н. А.* Тюркские языки. М., 1960.
10. *Баскаков Н. А.* Введение в изучение тюркских языков. М., 1962.
11. *Баскаков Н. А.* Предисловие к книге Г. И. Рамstedта «Введение в алтайское языкознание». М., 1957.
12. *Баскаков Н. А.* Тюркские языки. Языки народов СССР, т. 2. М., 1966.
13. *Баскаков Н. А.* К вопросу о происхождении условной формы в тюркских языках. В сб.: «К 75-летию акад. В. А. Гордлевского». М., 1953.
14. *Бобровников А.* Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849.
15. *Богородицкий В. А.* Введение в татарское языкознание. Казань, 1953.
16. *Бодуэн де Куртене И. А.* Несколько слов о сравнительной грамматике индоевропейских языков. СПб., 1882.
17. *Бубрих Д. В.* Грамматика литературного коми языка. Л., 1949.
18. *Бубрих Д. В.* Грамматика карельского языка. Петрозаводск, 1937.
19. *Бубрих Д. В.* Историческая фонетика финского-суоми языка. Петрозаводск, 1948.
20. *Бубрих Д. В.* Историческая морфология финского языка. М.—Л., 1955.
21. *Василевич Г. М.* Грамматический очерк эвенкийского языка. «Эвенкийско-русский словарь». М., 1958.

22. *Владимирцов Б. Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхасского диалекта. Л., 1929.
23. *Галкин И. С.* Историческая грамматика марийского языка. Ч. 1. Йошкар-Ола, 1964.
24. *Гордлевский В. А.* Числительное 50 в турецком языке. «Изв. отд. лит.-ры и языка АН СССР», т. 4, вып. 3—4, 1945.
25. *Грунина Т. И.* Документы на половецком языке XVI века. М., 1967.
26. *Дмитриев Н. К.* Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948.
27. *Дмитриев Н. К.* Строй турецкого языка. Л., 1939.
28. *Долгопольский А. Б.* Гипотеза древнейшего родства языковых семей Евразии с вероятной точки зрения. «Вопросы языкознания», 1964, № 2.
29. *Жәләй Л.* Татар диалектологиясе. Казан, 1947.
30. *Захаров И. И.* Грамматика маньчжурского языка. СПб, 1879.
31. *Звегинцев В. И.* Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX веков. М., 1956.
32. *Звегинцев В. И.* История языкознания XIX и XX веков. Ч. 2. М., 1960.
33. *Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А.* Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., 1961.
34. *Исхаков Ф. Г.* Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Имя существительное. М., 1954.
35. *Казембек М. А.* Общая грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1846.
36. *Каск А. Х.* Эстонский язык. Языки народов СССР, т. 3. М., 1966.
37. *Кашғари Махмуд.* Туркий сузлар девони (Девону луготит турк). т. 1—2. Ташкент, 1960—1961.
38. *Керт Г. М.* Образцы саамской речи. М.—Л., 1961.
39. *Киекбаев Д. Г.* Об урало-алтайском абессиве и его происхождении. В сб.: «Всесоюзная конференция по финно-угорскому языкознанию». Ижевск, 1967.
40. *Киекбаев Д. Г.* О грамматической категории определенности и неопределенности в урало-алтайских языках. «Советское финно-угроведение», 1965, № 4.
41. *Киекбаев Д. Г.* О происхождении некоторых падежных форм в урало-алтайских языках в свете теории определенности-неопределенности. В сб.: «Вопросы методологии и методики лингвистических исследований». Уфа, 1966.
42. *Киекбаев Ж. Г.* Хәзерге башкорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһы. Уфа, 1966.
43. *Коведяева Е. И.* Горномарийский язык. Языки народов СССР, т. 3, М., 1966.
44. *Козин С. А.* К вопросу о показателе множественного числа в монгольском языке. Уч. записки ЛГУ. Серия филолог. наук, вып. 10, 1946.
45. *Константинова О. А.* Эвенкийский язык. М.—Л., 1964.
46. *Константинова О. А., Лебедева Е. П.* Эвенкийский язык. М.—Л., 1953.
47. *Кубрякова Е. С.* Из истории английского структурализма. В сб.: «Основные направления структурализма». М., 1964.
48. *Лигети Л.* Монгольские элементы в диалектах хазар в Афганистане. Краткие сообщения института народов Азии, вып. 83. М., 1964.

49. *Лигети Л.* Рецензия на книгу Г. Д. Санжеева «Сравнительная грамматика монгольских языков». «Вопросы языкознания», № 5, 1955.
50. *Лыткин В. И.* (ред.) Коми-пермяцкий язык. Кудымкар, 1962.
51. *Лыткин В. И.* Древнепермский язык. М., 1952.
52. *Майтинская К. Е.* Языки народов СССР, т. 3. (Финно-угорские языки. Введение.) М., 1966.
53. *Майтинская К. Е.* Венгерский язык, Ч. 1. М., 1955.
54. *Майтинская К. Е., Лыткин В. И.* Рецензия на работу Д. Де-чи, ж. СФУВ. 1965, № 3.
55. *Майшев И. И.* Грамматика коми-пермяцкого языка. Сыктывкар, 1940.
56. *Малов С. Е.* Памятники древнетюркской письменности. М. — Л., 1951.
57. *Малов С. Е.* Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952.
58. *Малов С. Е.* Памятники древне-тюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959.
59. *Маркс К.* Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. 9, М., 1941.
60. *Метезиус В.* Попытка создания теории структурной грамматики. В сб.: «Пражский лингвистический кружок». М., 1967.
61. *Мачавариани М. В.* О взаимоотношениях математики и лингвистики. «Вопросы языкознания», 1963, № 3.
62. *Мелиоранский П. М.* Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900.
63. *Мельников Г. П.* Еще раз о необходимости применения в языкознании математических методов. В сб.: «Лингвистическая типология и восточные языки». М., 1965.
64. *Мещанинов И. И.* Соотношение логических и грамматических категорий. В сб.: «Язык и мышление», М., 1967.
65. *Мурат В. П.* Глоссематическая школа. В сб.: «Основные направления структурной лингвистики», М., 1964.
66. *Немет Ю.* Специальные проблемы тюркского языкознания в Венгрии. «Вопросы языкознания», № 6, 1963.
67. *Новак Л.* Основная единица грамматической системы и типологии языка. В сб.: «Пражский лингвистический кружок». М., 1967.
68. *Новикова К. А.* Очерк диалектов эвенского языка. М.—Л., 1960.
69. *Очилов У. У.* Грамматика калмыцкого языка. Синтаксис. Элиста, 1964.
70. *Пенгигов Н. Т.* Формы числа имен и особенности их употребления в марийском языке. Труды Мар. НИИ, вып. 10, 1957.
71. *Первоушкин П. Н.* (отв. ред.). Грамматика современного удмуртского языка. Ижевск, 1962.
72. *Поливанов Е. Д.* К вопросу о родственных отношениях корейского и «алтайских» языков. Известия АН СССР, серия 6, т. 21, 1927.
73. *Прокофьев Е. Д.* Языки народов СССР, т. 3. (Селькупский язык.) М., 1966.
74. *Пяль Э.* Учебник эстонского языка. Таллин, 1955.
75. *Рамstedт Г. И.* Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957.
76. *Распопов И. П.* Принципы лингвистического анализа в глоссематической теории Л. Ельмслева. В сб.: «Вопросы методологии и методики лингвистических исследований». Уфа, 1966.

77. *Ришес Л. Д., Цинциус В. И.* Краткий очерк грамматики эвенского (ламутского языка) «Русско-эвенский словарь». М., 1952.
78. *Романова А. В. и Мыреева А. Н.* Очерки угорского, майского и таттинского говоров. М.—Л., 1964.
79. *Рустамов Р. Э., Будагов З. И.* Азербайджан дилинин грамматикасы. I РИССӘ. Бақы, 1960.
80. *Рясянен М.* Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955.
81. *Самойлович А. Н.* Некоторые дополнения к классификации турецких языков. Петроград, 1922.
82. *Санжеев Г. Д.* Сравнительная грамматика монгольских языков, ч. 1. М., 1953.
83. *Санжеев Г. Д.* Монгольские языки и диалекты. Уч. записки Института востоковедения, т. 4. М., 1952.
84. *Санжеев Г. Д.* Сравнительно-исторические и типологические исследования в алтанстике. В сб.: «Лингвистическая типология и восточные языки». М., 1965.
85. *Санжеев Г. Д. (ред.)*. Грамматика бурятского языка. М., 1962.
86. *Санжеев Г. Д.* Старописьменный монгольский язык. М., 1964.
87. *Севортян Э. В.* Прямое дополнение в турецком языке. Вестник МГУ, № 12, 1948.
88. *Серебренников Б. А.* Историческая морфология пермских языков. М., 1963.
89. *Серебренников Б. А.* Основные линии развития падежной и глагольной системы в уральских языках. М., 1964.
90. *Серебренников Б. А.* Происхождение марийского народа по данным языка. В сб.: «Происхождение марийского народа». Йошкар-Ола, 1967.
91. *Серебренников Б. А.* Грамматика финского языка. М.—Л., 1958.
92. *Сыромятников Н. А.* Об урало-алтайском слое древнеяпонского языка. «Народы Азии и Африки», 1967, № 2.
93. *Терешкин Н. И.* Очерки диалектов хантыйского языка, ч. 1. М.—Л., 1961.
94. *Терещенко Н. М.* Языки народов СССР, т. 3 (Финно-угорские и самодийские языки. Введение.) М., 1966.
95. *Тодаева Б. Х.* Дунсянский язык. М., 1961.
96. *Тодаева Б. Х.* Монгольские языки и диалекты Китая. М., 1960.
97. *Тодаева Б. Х.* Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и морфология. М., 1951.
98. *Тодаева Б. Х.* Винительный падеж в современном монгольском языке. Уч. зап. Института востоковедения, т. 4, М., 1952.
99. *Хакулинск Л.* Развитие и структура финского языка. М., 1953.
100. *Харитонов Л. Н.* Современный якутский язык. Фонетика и морфология. Якутск, 1947.
101. *Цинциус В. И.* Множественное число имени в тунгусо-маньчжурских языках. Уч. записки ЛГУ, серия филол. наук, вып. 10. Л., 1946.
102. *Цинциус В. И.* Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949.
103. *Цинциус В. И.* Эвенский (ламутский) язык. Уч. записки ЛГУ, серия филол. наук, вып. 10., 1946.

104. *Чуркин Т. Я.* Из наблюдений над чувашскими говорами. В сб.: «Тюркологические исследования», М.—Л., 1963.
105. *Шаумян С. К.* Структурная лингвистика. М., 1965.
106. *Шаумян С. К.* Проблемы структурной лингвистики. М., 1962.
107. *Шэльева А. Ш.* Уйгур тили грамматикаси. I кism. Алмута, 1957.
108. *Шмидт П. П.* Этнография Дальнего Востока. Владивосток, 1915.
109. *Шмидт Я.* Грамматика монгольского языка. СПб., 1832.
110. *Шренк Л.* Об инородцах Амурского края. Т. 1, СПб., 1883.
111. *Штернберг Л. Я.* Гиляки, орочи, гольды, айны. Статьи и материалы. Хабаровск, 1933.
112. *Шербак А. М.* Лингвистические заметки. «Вопросы языкознания», 1965, № 6.
113. *Шербак А. М.* О характере лексических взаимосвязей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. «Вопросы языкознания», 1966, № 3.
114. *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1961.
115. *A n d e r s o n N.* Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen und indogermanischen Sprachen. Dorpat, 1879.
116. *B e n z i n g I.* Die tungusischen Sprachen, Versuch einer Vergleichenden Grammatik. Wiesbaden, 1955.
117. *B ö h t l i n g k O.* Über die Sprache der Jakuten. SPv., 1851.
118. *B u d e n z I.* Az ugor nyelvek összehasonlító alktána. Budapest, 1884.
119. *C a s t r e n M. A.* Nordiska resor forskningar. Bd. 2, SPv., 1845.
120. *C a s t r e n M. A.* Nordische Reisen und Forschungen. Bd. 5, SPv., 1849.
121. *C a s t r e n M. A.* Grammatik der samojedischen Sprachen, XXIV. SPv., 1854.
122. *C a s t r e n M. A.* Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre. SPv., 1857.
123. *C a s t r e n M. A.* Ethnologische Vorlesungen über die altaischen Völker nebst samojedischen Maren und tatarischen Heldensagen. SPv., 1857.
124. *C l a u s o n G.* Turkish and Mongolian Studies. London, 1962.
125. *C o l l i n d e r B.* Finno-ugric Vocabulary. An Etymological dictionary of the Uralic languages. Stockholm, 1955.
126. *D é c s y G.* Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1965.
127. *D o e r f e r G.* Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1963.
128. *D o e r f e r G.* Рецензия на книгу Д. Фокоша-Фукса «Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft». «Uralaltaische Jahrbücher». Bd. 36, 1965.
129. *D o e r f e r G.* Zur Verwandtschaft der altaischen Sprachen. «Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft». Bd. 71, Heft 1—2. Berlin, 1966.
130. *D o e r f e r G.* Рецензия на работу Б. Коллиндера «Hat das Uralische Verwandte. Eine Sprachvergleichende Untersuchung».

- «Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft». Bd. 71, Heft 1—2, Berlin, 1966.
131. D o e r f e r G. Homologe und analoge Verwandtschaft. «Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft». Bd. 72, Heft 1—2, Berlin, 1966.
132. F o k o s-F u c h s D. R. Rolle der syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft. Wiesbaden, 1962.
133. G a b a i n A. v o n. Alttürkische Grammatik. Leipzig, 1950.
134. G o m b o c z Z. Zur Lautgeschichte der altaischen Sprachen. KSz, Bd. 13. Budapest, 1912.
135. G r ö n b e c h K. Der turkische Sprachbau I. Kopenhagen, 1936.
136. G u s t a v H. Egyetemes Irodalom történet. Bd. 4, Budapest, 1911.
137. H a j d u P. Beveretés az urali nyelvtudományba. Budapest, 1966.
138. L u t c k K. Die historische englische Grammatik. Bd. 1, 1914.
139. M u n k a c s i B. Az ural-altajak nepek. Egyetemes Irodalom történet. 4 kötet. Budapest, 1911.
140. P a a s o n e n H. Beiträge zur finnisch-ugrisch-samojedischen Lautgeschichte. Budapest, 1917.
141. P o p p e N. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. I Teil. Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, 1960.
142. P r ö h l e W. Grundriss einer vergleichenden Syntax der uralaltaischen Sprachen mit besonderer Berücksichtigung der japanischen Sprache. Budapest, 1943.
143. R a m s t e d t G. I. Japanin kielen historiasta. Helsinki, 1942.
144. R a m s t e d t G. I. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. Bd. 1. Lautgeschichte. Helsinki, 1957.
145. R ä s ä n e n M. Materialen zur Morphologia der türkischen Sprachen. Helsinki, 1957.
146. R ä s ä n e n M. Über die ural-altaische Sprachwissenschaft. Helsinki, 1965.
147. R a u n A. Über die sagenante lexikostatistische Methode oder Glottochronologie und ihre Anwendung auf das Finnisch-ugrische und Türkische. Ural-altaische. Jahrbücher, 28, 1956.
148. S e t ä l ä E. N. Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen und samojedischen Sprachen. Helsinki, 1915.
149. S t r a h l e n b e r g Ph. I. Das Nord und Ostische Theil von Europa und Asia. Stochholm, 1730.
150. S c h l a c h t e r W. Zur ural-altaischen Sprachverwandtschaft. «Ural-altaische Jahrbücher». Bd. 36, 1965.
151. S c h o t t W. Versuch über die tatarischen Sprachen. Berlin, 1830.
152. W i e d e m a n n F. I. Über die früheren Sitze der tschudischen Völker und ihre Sprachverwandtschaft mit den Völkern Mittelhochasiens, 1838.
153. W i n k l e r H. Uralaltaische Völker und Sprachen. Berlin, 1884.
154. W i n k l e r H. Der Uralaltaische Sprachstamm, der Finnische und der Japanische. Berlin, 1909.

О Г Л А В Л Е Н И Е

§ 1. Общие сведения об урало-алтайских языках	3
§ 2. Попытка обобщенной классификации урало-алтайских языков	15
§ 3. Образование урало-алтайских языков	17
§ 4. Об образовании языков-основ отдельных групп урало-алтайских языков и о времени их территориального разобщения	19
§ 5. Об изучении урало-алтайских языков и возникновении урало-алтайской теории	25
§ 6. Современная уралистика и алтаистика в свете урало-алтайской теории	32
§ 7. Урало-алтаистика на современном этапе	43
§ 8. О новых работах по урало-алтаистике	47
§ 9. О вновь выявленных сходных чертах урало-алтайских языков	55
§ 10. О гипотезе родства уральских и индоевропейских языков	59
§ 11. О применении методов структурной лингвистики в сравнительно-историческом изучении родственных языков	64
§ 12. Об использовании математических методов в лингвистике в свете системности языка	70
§ 13. О лингвистической теории определенности и неопределенности (теория ОПНО)	75
§ 14. Грамматическая категория определенности	79
§ 15. Грамматическая категория неопределенности	88
§ 16. О показателях определенности и неопределенности	105
§ 17. Об основах определенности	112
§ 18. О простой основе определенности	125
§ 19. О сложных основах определенности	130
§ 20. Об основе определенности в венгерском языке и о подготовке конечных гласных	134
§ 21. Об основах неопределенности	139
<i>Библиография</i>	145
	151

Джалиль Гиниятович Киекбаев

ВВЕДЕНИЕ
В УРАЛО-АЛТАЙСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Ответственный редактор *М. З. Закиев*
Редактор издательства *Т. Г. Яркунова*
Художественный редактор *Б. А. Хайбуллин*
Художник-оформитель *А. А. Холопов*
Технический редактор *Ф. Г. Гайфуллин*
Корректор *А. А. Цитович, В. Б. Самсонова*

Слано в набор 22|VI 1971 г. Подписано к печати 21|III
1972 г. Формат 84×168¹/₃₂. Физ. печ. л. 4,75. Условн.
печ. л. 7,98. Учет.-изд. л. 7,70. Тираж 1000 экз. П03136.
Бумага тип. № 1. Заказ № 396. Цена 47 коп.

Башкирское книжное издательство Управления по
печати при Совете Министров БАССР, г. Уфа-25,
улица Советская, 18.

Уфимский полиграфкомбинат Управления по печати
при Совете Министров БАССР, г. Уфа-1, проспект
Октября, 2.

Замеченные опечатки

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
40	17 снизу	124	24
136	9 снизу	эной	йэной
137	14 снизу	наш	на наш

Заказ № 396

1847